ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА.

Лев Дейч

С. М. Кравчинский

С приложением статьи В. И. Засулич

Издание Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов.
Петроград. - 1919. -

КАТАЛОГ КНИГ

издательства и книжного склада петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов.

Смольный, 2-й этаж, комната 51, телефон—34, контора—комната 54.

Книжный магазин—Пр. 25 октября, 116.

Вышли из печати:

	Цена. Р. К.
Алексеев и Варлен. „Две речи“	— 70
Арну. „Мертвецы коммуны“	— 45
Его-же. „Народная история Парижской Коммуны“.	7 50
Артамонов. „Земля родная“. Стихотворения	6 50
Афиногенов (Степной), Н. „Записки ополченца“. Разошлось	1 25
Бакс. „Парижская коммуна“	1 75
Барбюс. „В огне“. Дневник полувзвода. Перев. Арденина. 1-е и 2-е издания разошлись. Печатается 3-е издание	10 —
Басов-Верховинцев. „Венок“. Сказки	5 —
Бебель, А. „Интеллигенция и социализм“	1 25
Его-же. „Из моей жизни“ Мемуары, т. I	4 20
Его-же. „ „ „ „ т. II, ч. I	7 50
Его-же. „Христианство и социализм“	— 50
Безсалько. „Алмазы Востока“. Сказки. С иллюстрациями	8 —
Блосс, Е. „История французской революции“	16 —
Белами. „Равенство“	— —
Бернштейн. „Фердинанд Лассаль“. Биограф. очерк.	7 —
Богданов. „Красная звезда“	2 60
Его-же „Инженер Мэнни“	7 —
Бранс. „Долой социал-демократов“	1 —
Браун, Лилли. „Роман моей жизни“, т. I	30 —
Ее-же. „ „ „ т. II	30 —
Брусянин. „В борьбе за труд“	3 —
Бухарин. „Программа коммунистов“	1 75
Его-же. „Долой международных разбойников“. Разошлось. Печат. 2-е изд.	— 40
Его-же. „Классовая борьба и революция в России“	1 80
Быстрянский. „Империализм“	— 35
Его-же. „Армия империализма и армия революции. Война империалистическая и война революционная“	2 —
Его-же. „Империалистическая Англия против социалистической России“	— 40
Его-же. „Рабоче-крестьянская революция в России в оценке буржуазной публицистики“	2 —
Вандервельде. „Социализм и искусство“	— 90
Ватин. „Что такое коммуна?“	— 20
Вейтлинг. „Человечество, каково оно есть и каким должно быть“	— 85
Величкина, В. „Борец за свободу Вильгельм Вейтлинг“	1 —
„Венок коммунаров“. Сборн. памяти В. Володарского, с рисунками	4 —
Войнич, Э. „Овод“. Роман. Пер. с английского З. Венгеровой	4 50
Е-ин, Л. „Уголок немецкой оккупации“	— 50
Володарский, В. „Напутственная речь агитаторам“. 3-е издание	— 50
Волховский. „Сказание о царе Симеоне“	1 25
Гайн-Ад-янц. „Крестьянский вопрос во Франции“	— 55
Гауптман. „Ткачи“. Драма	3 —
Геккель, Э. „Происхождение человека“	3 —
Геррон, Г. „От революции к революции“	1 20
Горичев. „Таблица исчисления заработной платы от 150 до 1.000 р. при 6 и 8 час. рабочем дне“	5 —
Горлов, Н. „Темные силы, война и погромы“	— 40
Его-же. „Враги-ли евреи рабочим и крестьянам“. Разошлось. Печат. 2-е изд.	— 65
Его-же. „Евреи, классовая борьба и погромы“	— 40
Горький, Максим. „Макар Чудра“. С иллюстр.	1 —
Его-же. „Челкаш“	1 50
Его-же. „Двадцать шесть и одна“	5 —
Его-же. „Дед Архип и Ленька“	1 10
Его-же. „Емельян Пиляй“	5 —
Его-же. „Дело с застежками“	3 —
Его-же. „На плотах“	4 —
Его-же „Мальва“	1 80
Его-же. „Коновалов“	2 60
Его-же. „Тюрьма“	2 25
Его-же. „Проходимец“	10 —
Его-же. „Скуки ради“	1 40
Его-же. „Васька Красный“	1 40
Его-же. „Кирилка“	1 30
Его-же. „О евреях“	1 10
Его-же. „Как я учился“	— 90
Его-же. „Мое обращение“	— 10
Гра, Ф. „Марсельцы“	7 —
Грейлих, Г. „Буржуазная революция и освободительная борьба рабочего класса“	1 40
Гусев. „Теория пролетариата“ (научный социализм)	1 20
Декав. „Фленго“. Рассказ из времен коммуны 1871 г.	— 25
Декреты о суде	1 50
Декреты о домовых комитетах	1 50
Демьян Бедный. „Земля обетованная“	1 20
Его-же. „В огненном кольце“	1 50
Его-же. „Песни прошлого“	3 —
Его-же. „Сытый голодного не разумеет“	4 50
Его-же. „Из песен прошлого“	3 —
Дитцген. „Религия социал-демократии“	3 50
Жорес. „Мир и пролетариат“	— 45
Закон о лесах Российской Фед. Сов. Республики	— 30
Зиновьев, Г. „Корни оборончества“	1 10
Его-же. „Наше положение и задачи создания красной армии“	— 25
Его-же. „Австрия и война“	1 80
Его-же. „Из истории пролетарского праздника 1 мая“	— 30
Его-же. „Г. В. Плеханов“. Вместо речи на могиле	— 45
Его-же. „Хлеб, мир и партии“	— 70
Его-же. „Рабочие партии и профессиональные союзы“	2 25
Его-же. „Речь о создании красной армии“. 2-е изд.	— 25
Его-же. „Социализм и война“	1 10
Его-же. „Н. Ленин, жизнь и деятельность“	1 20
Его-же. „Письмо к крестьянам“	— 50
Его-же. „Слово к красноармейцам“	— 40
Его-же. „Чехо-словаки, белогвардейцы и рабочий класс“	— 35
Его-же. „Что делать в деревне“	— 70
Его-же. „О мятеже левых эс-эров“	— 60
Его-же. „Франц Меринг“	— 30
Его-же. „Из истории нашей партии“	1 10
Его-же. „Война и кризис социализма“	15 —
Его-же. „Задачи рабочей и крестьянской молодежи“	— 90
Его-же. „Работница, крестьянка и Советская власть“	— 70
Его-же. „Что должен знать и помнить коммунист-красноармеец“	— 70
Зиновьев, Г., и Ленин, Н. „Против течения“. 2-е изд.	10 —

MW
C

Историко-революционная библиотека

PG3467
.K72
D5
C

Лев Дейч

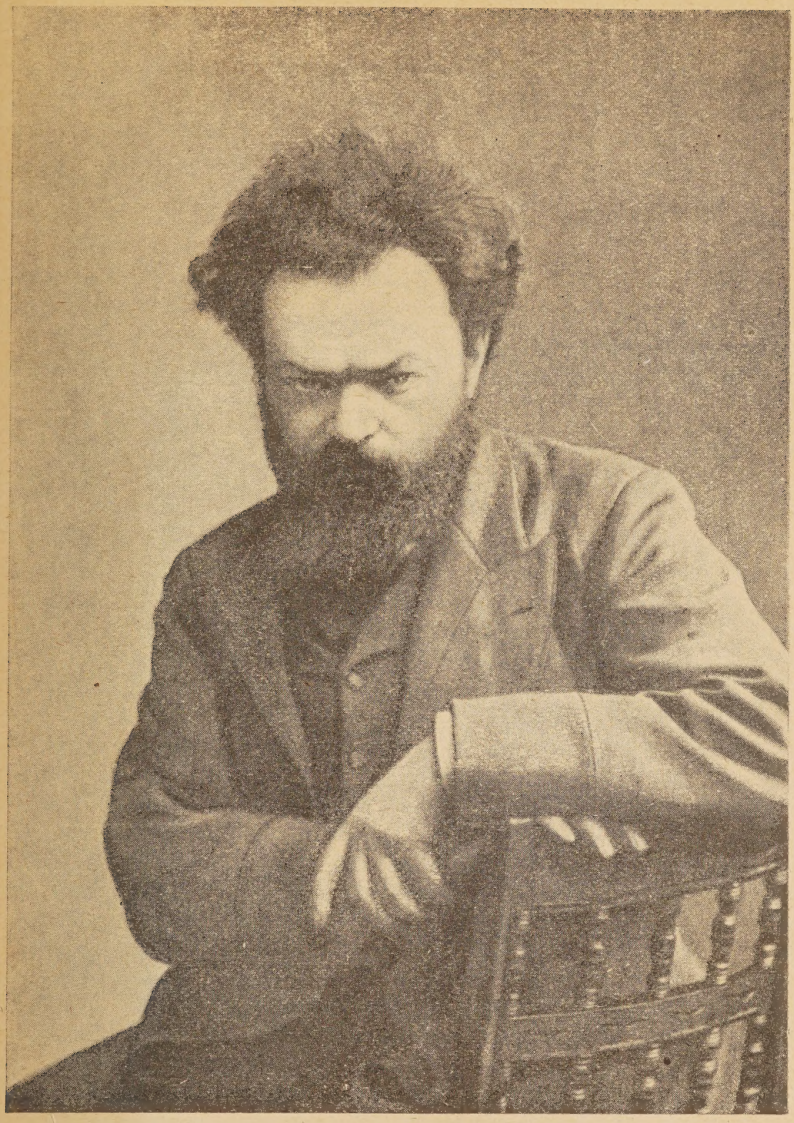
S.M. KRAVCHINSKII

С. М. Кравчинский

С приложением статьи В. И. Засулич

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТРОГРАД, 1919

Первая Государственная Типография.



СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
КРАВЧИНСКИЙ.

„Баловень судьбы“

(С. М. Кравчинский).

«Он соединял в себе сердце льва и добродушие ребенка».
(Из прощальной речи Джона Бернса на похоронах С. Кравчинского (Степняка).

Если бы в конце 70-х или в начале 80-х гг. мин. стол. кто-нибудь из нас, людей крайнего лагеря, задал в нашем кругу вопрос: кого мы могли бы признать человеком, наиболее других щедро наделенным от природы, то я не сомневаюсь, что большинство, а, возможно, и все произнесли бы имя Сергея Михайловича Кравчинского.

Он—единственный из нас, тогдашних семидесятников, обладал всем тем, что делает человека довольным своей судьбой: необыкновенной физической силой и здоровьем, выдающимися и разнообразными дарованиями, редким темпераментом, характером, трудоспособностью и настойчивостью. Ко всему этому Кравчинскому изумительно везло в жизни, и нередко даже самые, казалось бы, неблагоприятные стечения обстоятельств кончались для него наилучшим образом. Естественно, поэтому, было, когда кто-нибудь из нас, близких его товарищей, пришедши в восхищение от всегда цветущего его вида, восклицал радостно:

— Сергей! да ты проживешь сто лет!

— Не сто, а полтораста,—поправлял он. Сто без лекарств, а пятьдесят еще дотяну при содействии разных снадобий.

И кто бы мог тогда поверить, что этот гигант, этот «баловень судьбы», как мы нередко называли его, станет жертвой глупой случайности, не дожив до 43-х лет!..

Не трудно, поэтому, себе представить, каким страшным ударом была для всех, знавших Кравчинского лично, внезапная его смерть.

Ему посвятили некрологи и воспоминания лица, принадлежащие к разным политическим направлениям. В их числе мы

находим самого выдающегося западно-европейского литературного критика конца прошлого столетия Георга Брандеса, имеющего очень мало общего с социализмом, анархиста П. Кропоткина, соц.-дем. В. Засулич, с.-р. Л. Шишко и не знаю какого теперь толка—Ольгу Любатович. Несмотря на большое различие воззрений всех этих лиц, воспоминания их о Кравчинском проникнуты одними и теми же чувствами: восхищением перед его личностью и глубокой скорбью по поводу столь ранней и трагической его смерти.

В мою задачу, конечно, не входит разбор вышедших до сих пор воспоминаний о Кравчинском. Скажу лишь, что наиболее обстоятельным и ценным из всех является очерк Л. Шишко, изображающий жизнь Кравчинского в Михайловском артиллерийском училище и в кружке чайковцев, следовательно, только в начале 70-х годов. Затем Ольга Любатович более или менее подробно сообщает о жизни Кравчинского за границей в конце того же десятилетия, но вследствие-ли дефекта памяти или по каким-либо другим причинам, в ее воспоминаниях, по единодушному утверждению всех современников описываемого ею периода, много неточностей и погрешностей.

Предлагаемый мною очерк охватывает наиболее интересные годы жизни Кравчинского.

I.

С давних пор Кравчинский пользовался чрезвычайно большой популярностью среди передовой молодежи. Уже с 1873—74 г.г. о нем циркулировали чуть-ли не легендарные слухи. Особенно много рассказывали на счет его необыкновенной физической силы, а также о его смелости, находчивости, ловкости,—чертах, столь ценных в наших глазах, тогда бунтарей-романтиков, носившихся, как известно, с мыслями о народных восстаниях и героях,—о понизовой вольнице и гайдаматчине, о Стеньке Разине и Емельяне Пугачеве.

Из всех выделявшихся в те времена пропагандистов-агитаторов из кружка чайковцев,—к слову сказать, не пользовавшихся среди нас, бунтарей, ни малейшим престижем, скорее даже, наоборот, слывших за «жалких культуртрегеров»,—только для Сергея Кравчинского да для его близкого друга Дмитрия Рогачева,—тоже, как и он, бывшего артиллерийского поручика,—мы делали исключение, причисляя их двоих к настоящим, заправским революционерам, т. е. к истинным бакунистам.

Верность слуха о выдающейся физической силе, которой обладал Кравчинский, а в особенности его друг Рогачев, подтверждалась разосланным знаменитым тогда Третьим отделением

секретным предписанием, в котором говорилось, чтобы «для ареста этих двух важных преступников, если местопребывание их будет открыто, откомандировано было,—в виду чрезвычайной физической их силы,—несколько особенно здоровых жандармских нижних чинов».

Но, кроме этой высокоценимой нами особенности, было также известно, что Кравчинский выделяется еще и некоторыми другими, хотя и менее важными в наших глазах, свойствами. Так, сообщали, что он очень талантлив, как писатель, что он автор довольно популярных листков и сказок для народа. Передавали, что он выдающийся пропагандист и агитатор, при чем рассказывали, как, отправившись вместе с Рогачевым раньше всех других в народ, они в какой-то деревне были арестованы с поличным, на месте преступления,—во время «преступной пропаганды». Но ночью караулившие их крестьяне, которые слышали их пропаганду, проникшись расположением к ним, сами предложили им бежать из-под ареста.

Мы также знали, что в 1875 г., когда в Боснии и Герцеговине вспыхнуло восстание, Кравчинский одним из первых помчался туда, в качестве волонтера. Вернувшись затем целым и невредимым, он вскоре после того отправился в Италию, где, вместе с несколькими местными последователями Бакунина, пытался вызвать вооруженное восстание в провинции Беневент, но, будучи арестованным с оружием в руках, был заключен в итальянскую тюрьму, и ему грозила смертная казнь. Однако и в этом случае, как и во многих других в его жизни, вновь спасла его счастливая звезда, под которой он, очевидно, родился: вступивший на престол король Гумберт даровал ему, как иностранцу, полную амнистию.

Эти и другие рассказы о Кравчинском, передававшиеся из уст в уста, рисовали его нам в чрезвычайно интересном, привлекательном свете. В нашем молодом воображении, склонном вообще к увлечениям, Кравчинский являлся чуть-ли не аналогичным Гарибальди, этому неутомимому борцу за свободу угнетенных народов, достигшему тогда апогея своей славы.

И вот, тотчас по приезде в Петербург, летом 1878 г., после столь неожиданного и для нас «чигиринцев», спасения из неволи, мы узнали, что давно завоевавший наши симпатии и уважение, знаменитый «Сергей-силач» находится здесь же, в столице, где в течение многих уже лет его усиленно, но тщетно разыскивает полиция. Мы, конечно, несказанно обрадовались этому сообщению кого-то из «троглодитов»,—членов «Северной организации», собравшихся вместе на «конспиративной», т. е. общей

квартире, по случаю нашего приезда, после побега из киевской тюрьмы, в начале июня 1878 года.

Многим, полагаю, давно знакомо сделанное Кравчинским в «Подпольной России» очень живое изображение момента получения художницей Малиновской, у которой он был в гостях, телеграммы, извещавшей о «рождении мальчика», что означало удачный наш побег. Затем он передает, какие он по поводу нас испытывал тревоги и опасения.

«С большим нетерпением,—рассказывает он в «Подпольной России»—ждал я встречи с ними, особенно со Стефановичем, с которым несколько лет тому назад у меня были деловые отношения. Нетерпение мое росло с минуты на минуту, но, когда, наконец, пробило 12 часов, и все еще никого не было, я начал испытывать настоящую пытку»... «Затем,—сообщает он далее, послышались шаги. Я отворил дверь. Это были они. Я тотчас узнал Стефановича... Без всяких слов, я бросился к нему на шею и сжал его в своих об'ятиях».

Но столь горячей, пламенной была его встреча только со Стефановичем, который отправился к нему с одним товарищем. Со мною Кравчинский свиделся на следующее утро, и нашу первую встречу правильно будет назвать теплой, товарищеской встречей двух единомышленников, хотя лично не видавших друг друга, но давно знакомых по рассказам близких людей.

Но между тем, как мой друг отправился вечером к Кравчинскому, выразившему желание, чтобы первая его встреча произошла сперва наедине с одним только Стефановичем, я принял предложение одного из наиболее симпатичных «троглодитов»—Оболешева, он же—«Алешка», переночевать у него.

Когда, вскоре затем, мы очутились на его скромной квартире, состоявшей из одной меблированной комнаты и, несмотря на это, заключавшей в себе всю «небесную канцелярию», т. е. конспиративное паспортное бюро,—Алешка своим тихим, ровным голосом стал передавать мне подробности о Сергее.

Оказалось, что Кравчинский незадолго перед тем приехал из-за границы с разными планами. Расхваливая Сергея, Оболешев, помню, в заключение, каким-то особенно умильным тоном сообщил, что Кравчинский вступил в число членов «Северной организации».

— Да, это большое для нас приобретение!—несколько раз повторял добрейший Алешка и неподдельная, искренняя радость сияла на его симпатичном лице.

Но меня это известие несколько удивило. Дело в том, что Кравчинский принадлежал к числу немногих чайковцев, спасшихся от массовых арестов, бывших в начале 70-х годов. Между

этими уцелевшими лицами и «троглодитами» существовала некоторого рода холодность, вследствие чего в то время только немногие из бывших чайковцев присоединились к «Северной организации». Большинство же их, как и мы, бунтари, считали «троглодитов» людьми «сухими, черствыми, формалистами». В свою очередь, члены «Северной организации» находили, что чайковцы чрезмерно «сентиментальны», «мягкосердечны».

Только прожив некоторое время среди петербургских товарищей и познакомившись с господствовавшим тогда настроением, я понял причину происшедшей перемены во взглядах и чувствах тогдашних деятелей.

На следующее утро мы с Оболешевым отправились к Кравчинскому.

Своим внешним видом Сергей сразу располагал к себе. Циркулирующие фотографические его снимки довольно хорошо передают черты его лица.

Кравчинский не был красив, а между тем он говорил, что очень похож на мать, считавшуюся красавицей. Он имел короткий нос, толстые губы и чуть-чуть выдающиеся скулы; но благодаря прекрасному цвету лица,—румянцу, покрывавшему его щеки, как у деревенской красавицы, умным, пронизывавшим глазам, окаймленным густыми бровями, большому, очень развитому, покатому лбу и обильным вьющимся волосам,—все его несовершенства были совсем незаметны. При взгляде на него получалось впечатление очень оригинального и интересного, а главное, цветущего здоровьем, бодростью и весельем энергичного, сильного человека.

Носил Кравчинский тогда изящный летний костюм, в котором выглядел настоящим барином, что, как вскоре об'яснилось, обусловливалось столько же его страстью к элегантности, сколько и документом, под которым он тогда проживал: у него имелись бумаги князя, правда, только кавказского, все же его хозяйка и дворники не мало гордились таким квартирантом, которого с особенным, видимо, удовольствием величали «вашим сиятельством», что, понятно, не мало смешило всех нас.

Громкий титул в значительной степени гарантировал от излишнего внимания и подозрения как самого Кравчинского, так, в особенности, его многочисленных посетителей. То были, главным образом, его старые друзья по кружку чайковцев,—лица, лишь незадолго перед тем освобожденные из заключения по большому процессу (193-х).

Благодаря княжескому титулу, ни квартирная хозяйка,—начальница какого-то женского пансиона, ни старший дворник не находили, повидимому, ничего странного не только

в том, что к Кравчинскому ходило много молодежи, но также и в том, что в занимаемой им меблированной комнате, в его отсутствие, нередко оставалось по нескольку человек.

Комично, бывало, слышать, когда дворник, знавший, что идешь к «князю», с приветливой улыбкой предупреждал:

— Их сиятельства нет дома: только-что изволили уехать.

С трудом удерживаясь от смеха, отвечаешь:

— Ничего, я посижу, подожду их.

Вежливость дворника с посетителями обусловливалась, вероятно, отчасти еще тем, что «князь» при всяком подходящем случае давал ему щедро на чай.

Вынужденная документом необходимость вести несколько более широкий образ жизни, чем какой позволяли себе другие товарищи, но в значительной степени также и бывшая у Кравчинского слабость покупать, где только он видел в витринах, нередко совершенно ни ему, ни кому другому из его близких ненужные безделушки—письменные принадлежности, разные украшения и т. п.,—приводили к тому, что он, относительно, довольно много тратил, а потому часто сидел без денег или «перехватывал» у товарищей «на время», конечно, без отдачи.

В первое время по приезде в Петербург Сергей существовал на свои собственные зарабатываемые им средства и лишь в исключительных случаях прибегал к организации, т. е. обращался все к тому же Алешке, который в своем лице сосредоточивал, вместе со всякими другими общественными функциями, также и обязанность «казначея».

Кравчинский вечно был занят, всегда торопился куда-нибудь, одновременно имел по нескольку свиданий и, если не брал извозчика, какового он предпочитал конке, то ходил до того быстро, что нужно было чуть не в припрыжку скакать, чтобы поспеть за ним.

В немногие часы, когда он оставался дома один, он переводил какой-то обширный роман с итальянского языка для довольно популярного тогда журнала «Дело» Благосветлова. Работал Сергей чрезвычайно быстро, интенсивно и переводчиком считался прекрасным, к тому же обладавшим большим вкусом в выборе иностранных произведений. Он, и вообще, за что ни брался, делал все «добросовестно», как он сам говорил,—изящно, прочно и вместе скоро.

Тогда он прекрасно знал французский, немецкий, английский и, в особенности, итальянский языки. Первые три языка он усвоил отчасти с детства и в военной гимназии, итальянский же изучил в совершенстве в чрезвычайно короткий промежуток—во время десятимесячного пребывания в тюрьме. Этим быстрым

изучением чужого языка он приводил в большое изумление своих итальянских товарищей, в чем мне впоследствии пришлось лично убедиться, слыша отзывы Малатесто, Кафиерро и др.

«Он говорит как настоящий итальянец,—заявляли они.—Нельзя узнать, что он иностранец».

Удивительнее всего то, что изучением этого языка Кравчинский занялся в такое время, когда у него не было и не могло быть никакой надежды воспользоваться впоследствии на воле знанием его.

— Не все-ли тебе было равно,—спросил я его как-то,—раз тебе грозила смертная казнь, явиться пред престолом Всевышнего и без знания итальянского языка?

— Ну, нет, ошибаешься,—ответил он:—Я питал надежду, что за знание этого именно языка св. Петр окажет мне протекцию, и мне простятся многие грехи мои.

Заговорив о лингвистических способностях Кравчинского, сообщу еще следующий случай, для чего должен забежать несколько вперед.

Однажды, зимой того же года, когда мы с Сергеем очутились в Швейцарии, у нас на квартире Кропоткин рассказал о затруднительном своем положении: он взял на себя обязательство перевести для какого-то издателя одно сочинение с испанского языка, но вот теперь он из другого места получил более интересное предложение; между тем, ни отложить какой нибудь из этих заказов, ни исполнить оба одновременно он не в состоянии.

— Я выручу тебя,—заявил Сергей.—Дай мне испанский перевод.

— Да ты разве знаешь этот язык?—спросил с видимым изумлением Петр Алексеевич.

— Нет, не знаю, но у тебя вероятно имеется какой-нибудь испанско-французский или испанско-итальянский диксионер, а также грамматика. При помощи этих пособий я переведу с испанского также свободно по прошествии недели, как со всякого другого, мне знакомого: при знании двух романских языков, я полагаю, это не трудно.

Хотя Кропоткин много лет уже знал тогда Сергея и его выдающиеся способности, он, тем не менее, помню, усомнился, удастся-ли ему доставить к требовавшемуся, очень короткому, сроку перевод.

— Что же, попробуй!—сказал Кропоткин.—Каково же было его удивление, а также и всех нас, присутствовавших при этом разговоре, когда Сергей день в день окончил работу

и, по признанию Петра Алексеевича, перевод оказался безукоризненным.

Возвратимся, однако, к нашему совместному с Кравчинским пребыванию в Петербурге в замечательное в истории нашего освободительного движения лето 1878 года.

II.

Когда мы с ним встретились, он занят был проектом издания в самой столице подпольного органа партии. Ему первому пришла эта мысль еще во время его пребывания за границей, и с целью ее осуществления он вернулся на родину.

Пока шли оборудование и расширение уже существовавшей у «троглодитов» небольшой подпольной типографии, в чем Кравчинский не принимал никакого участия, он носился с разными темами статей. Насколько могу теперь припомнить, то были преимущественно характеристики и оценки разных выдающихся участников происшедших в те годы политических процессов,—в духе тех биографических его заметок, которые им помещены были в издававшемся тогда в Женеве его друзьями журнале «Община» или знаменитых «профилей» в появившейся впоследствии «Подпольной России».

Но, став членом народнической организации и собираясь вскоре быть редактором ее органа, Кравчинский в описываемое мною время очень мало интересовался теоретическим обоснованием того направления, которого придерживались «троглодиты» и, вообще, крайний левый лагерь. Он совершенно не вникал тогда в принципиальные положения, на которых основывалась наша народническая программа, и я решительно не могу припомнить из того периода не только ни одного спора, но даже сколько-нибудь продолжительной его беседы с кем-нибудь из нас о народничестве.

Такое отношение к теории со стороны будущего руководителя народнического органа иные склонны были об'яснить складом ума Кравчинского, его нерасположением, вообще, к отвлеченным вопросам. Но это об'яснение мне кажется не совсем правильным.

Кравчинский по натуре, конечно, не был теоретиком, но не потому, что склад его ума был не приспособлен к абстрактному, логическому мышлению. Опровержением такого взгляда может, мне кажется, отчасти служить то, что, на ряду с выдающимися лингвистическими способностями, он обладал также и большими математическими. Временами, когда ничем другим он не был занят, Сергей не прочь был и «пофилософствовать» на счет разных отвлеченностей, правда, лишь в очень тесном кругу,—с

самыми близкими лицами, столь же, как и он, мало изощрившимися в этой области.

Кравчинского нельзя было также причислить и к людям, обладающим практическим складом ума, хотя ему всегда удавалось хорошо осуществлять те планы и предприятия, которые он сам надумывал. По моему мнению, главная причина равнодушия Сергея к теориям вообще и к народничеству—в частности заключалась не в свойствах его ума, а в его характере, вернее даже—в его настроении.

При крупных, выдающихся дарованиях Кравчинского, при его трудоспособности и настойчивости, он, конечно, если не лучше, то не хуже многих других, смог бы усвоить самые сложные теории и вести дебаты об отвлеченных вопросах. Но в переживаемую им эпоху он не видел в этом ни малейшей надобности, а не видел этого потому, что был так настроен.

Все его помыслы и чувства в то время были целиком заняты людьми,—их характерами, стремлениями и побуждениями. Занятый образами, носившимися перед его взором, он не мог и не хотел сосредоточиваться на принципах и теориях. Больше, чем кто-либо другой из участников движения 70-х годов, Кравчинский был певцом своего поколения, и в этом, как и в некоторых других душевных свойствах, у него было много общего с П. Якубовичем.

Но, между тем, как для Петра Филипповича обстоятельства его жизни сложились крайне неблагоприятно,—он, как известно, появился на политической арене в период упадка и реакции, почему бодрость и вера в грядущее светлое будущее шли у него рядом с колебаниями и сомнениями,—Кравчинский, наоборот, будучи сам «баловнем судьбы», к тому же выступил в эпоху небывалого под'ема и энтузиазма, охвативших лучшую часть нашей молодежи.

Неудивительно поэтому, что в произведениях Кравчинского мы находим одни лишь возвышенные, идеальные образы и восторженные звуки. Якубовичу, для которого судьба была мачехой, пришлось явиться певцом «поколения, проклятого богом».

И не только в своих литературных произведениях, но также и в устных беседах Кравчинский восторгался теми или иными из своих современников, участников и, особенно, участниц революционного движения, хотя, надо признать, в устной речи тон его не казался столь высоко приподнятым.

Когда я с ним познакомился, он с большим увлечением говорил о некоторых из подсудимых по Большому процессу. В чрезвычайный восторг приводил его открытый, смелый про-

тест на суде тех из них, которые не хотели мириться с разными нарушениями судопроизводства. Но особенно его изумление и восхищение вызвала знаменитая речь Мышкина, бросившего в лицо судьям-сенаторам сильные обвинения. В связи с обстановкой, в которой речь эта была произнесена, Кравчинский придавал ей выдающееся политическое значение.

Иные, помню, чувства вызвали в нем юные «преступницы», судившиеся за год до нашего с ним знакомства, по Московскому процессу (50-ти). Простые, скромные фигуры большинства этих самоотверженных девушек, из которых многие ушли в Сибирь, еще не достигши совершеннолетия, лишь за прочитанную рабочему сказку или произнесенную речь о «будущем строе», вызывали в отзывчивой, доброй душе Сергея нежность, доходившую до умиления. Лично не зная тогда почти никого из этих девушек, он, тем не менее, отзывался о них с такой же теплотой, как старший брат говорит о горячо любимых им сестрах. Но особенное место между ними он отводил знаменитой Софии Бардиной. Ее спокойная, проникнутая глубокой преданностью трудящимся массам речь на суде (50-ти) произвела на Кравчинского неизгладимое впечатление. Впоследствии, как ниже увидим, ему же пришлось присутствовать при трагической кончине этой высоко ценимой им и всеми знавшими ее молодой страдалицы...

Мне следовало бы также сообщить здесь о занимавшей в то лето помыслы Сергея Вере Засулич, но, полагаю, его отношение к ней всем памятно по «Подпольной России».

Глядя на широкие плечи Кравчинского, на выдававшуюся вперед богатырскую грудь его и большую голову, подчас с трудом верилось, чтобы эта массивная фигура с суровым, как могло казаться, взглядом исподлобья, из под густых насупленных бровей, была способна к столь тонким, нежным ощущениям, к такой отзывчивости, чувствительности и восторженности.

Нередко, как известно, случается, что при личной встрече с человеком, о котором предварительно приходилось слышать много хорошего, находишь расточаемые ему похвалы преувеличенными и разочаровываешься в нем. В отношении Кравчинского у меня, как, я уверен, и у других, получалось как раз обратное впечатление: чем ближе я узнавал его, тем все более убеждался, что все циркулировавшие о нем отзывы далеко не передавали его образа,—прекрасных черт его души. Да это и невозможно было, так как для полной и верной обрисовки этой сложной и богатой натуры требовался талант большого художника. К тому же он постоянно развертывался, и к удивлению лиц, вполне, казалось, знавших уже его, открывались в нем все новые, все

более совершенные черты, свойства его характера и умственных способностей.

Благодаря его прямоте, искренности и правдивости, с ним решительно каждый легко и скоро сходился. То же самое случилось и у меня с ним: в одну из ближайших наших встреч мы просто и легко перешли на «ты». Кроме уже указанных мною свойств Сергея, нашему с ним быстрому сближению, в частности, способствовало одинаковое у нас с ним настроение, а также и наше прошлое.

Мы принадлежали к той первой формации бакунистов 70-х годов, которая кое в чем отличалась от направления, явившегося во второй половине того же десятилетия, наилучшими представителями которого были «троглодиты».

В своих воспоминаниях о Кравчинском Вера Засулич правильно передает параллель, которую Сергей неоднократно делал перед нами, между старыми деятелями и новыми его товарищами. Я считаю нелишним воспроизвести здесь это характерное место из ее статьи:

«Его новые знакомые кажутся ему суше, уже, одностороннее чайковцев, но зато они и крепче их, насколько закаленная сталь крепче тонкого фарфора. По преданности делу они никому не уступят, а по упорству в достижении намеченных целей, по практичности, опытности они настолько же превосходят чайковцев, как взрослые люди детей» [1]).

В этой оценке мы вполне с ним сходились. Вообще, мы тогда понимали друг друга, как говорится, с полуслова.

Нельзя даже сказать, чтобы мы очень часто с ним видались тогда, так как этому мешала дальность расстояния между нашими квартирами: он жил вблизи Невского, а я со Стефановичем в Лесном.

Наши с ним встречи происходили у общих знакомых, большею частью—у наших приятельниц Марии Каленкиной и художницы Александры Малиновской, которой Кравчинский в «Подпольной России» посвящает несколько теплых страниц.

С Каленкиной—большой приятельницей Веры Засулич—мы состояли членами кружка «киевских бунтарей», столь не точно изображенных В. К. Дебогорий-Мокриевичем в его воспоминаниях. Она в немалой степени посодействовала нашему побегу из тюрьмы вместе с В. Засулич, склонив Осинского поехать в Киев для организации этого предприятия. Наша близость с этими двумя бывшими «бунтарками» способствовала также нашему схождению и с их приятельницей Малиновской.

---

[1]) Собр. статей В. И. Засулич, т. II, стр. 158, а также Приложение.

Как Степняк сам сообщает в «Подпольной России», он чуть-ли не ежедневно забегал на квартиру Малиновской, преимущественно под вечер, когда в удобных и уютных двух ее комнатах собиралось несколько «нелегальных», главным образом, членов «Северной организации». Бывал у нее также довольно часто молодой и чрезвычайно симпатичный офицер Дубровин, который вскоре затем был казнен в г. Старая Русса за оказанное им при аресте вооруженное сопротивление.

У Малиновской на квартире, как и вообще в более или менее многочисленной компании, Кравчинский крайне редко занимал общее внимание своими рассказами. Да он и не принадлежал к числу людей, любящих это. Самые разнообразные и многочисленные происшествия, бывшие в его жизни, он умудрялся передавать в немногих словах. Но он был бесподобен в изображениях близких и знакомых ему лиц: двумя-тремя меткими фразами и удачными, всегда оригинальными, сравнениями он давал до того образную характеристику, что описываемый им человек представлялся живым. При этом отзывы Кравчинского о людях всегда бывали положительного свойства. За весь многолетний период нашего с ним знакомства не могу припомнить, чтобы Сергей о ком-нибудь отзывался недружелюбно или резко. Даже когда в душе у него, быть может, и являлось некоторое недовольство поведением данного лица, он с такой добродушной и мягкой иронией, сопровождавшейся невинным смехом, упоминал о том или ином промахе этого человека, что, присутствуй последний при этом, он, я уверен, нисколько не обиделся бы.

Кравчинский отличался редкой ровностью в обращении со всеми. Неудивительно, поэтому, что он был всегда общим любимцем, куда бы ни забросила его судьба. Словно для опровержения установившегося взгляда, что у выдающегося общественного деятеля, на ряду с друзьями, непременно должны быть и враги, Кравчинский, наоборот, не только не имел недругов, но даже сколько-нибудь нерасположенных к нему людей нельзя было встретить. Приятели же и друзья, которые готовы были ради него пойти на какую угодно жертву, у него имелись всюду между самыми разнообразными, нередко и крайне враждебными друг другу лицами, между сторонниками совершенно непримиримых направлений, членами противоположных лагерей. И, несмотря на такую широту или, как мы про него говорили—«мягкотелость», Сергея горячо любили даже самые строгие на счет выбора своих знакомых, а тем более—друзей и приятелей люди.

«Троглодиты», как я уже упомянул, были чрезвычайно довольны тем, что Кравчинский вступил в их организацию. Они положительно гордились им и ставили его выше всех осталь-

ных своих товарищей. Естественно, поэтому, что они особенно усердно оберегали его от ареста, который в виду усиленных розысков его со стороны полиции, был вполне возможен. Но, кроме княжеского документа, Кравчинский не принимал решительно никаких других мер предосторожности. Наоборот, он скорее даже бравировал опасностью и подчас не прочь был от рискованной шутки. Приведу такой его рассказ.

Ему нужно было переночевать в гостинице,—не помню теперь, в каком именно большом городе. Номерной попросил его записать свое имя, фамилию и пр. в книге «для приезжающих». Кравчинский ради шутки записал: «Марк Волохов из «Обрыва» Гончарова». И это, будучи крайне «нелегальным»!

Организация возлагала на него большие надежды и не столько как на литератора и будущего редактора,—хотя и в этом отношении его очень высоко ценили,—а также и не в качестве деятеля среди крестьян или интеллигенции: Кравчинского все ценили совершенно независимо от какой нибудь определенной функции, которую он мог нести в организации. Он был очень дорог сам по себе, как высоко даровитый, очень талантливый человек, являвшийся украшением в любой среде.

Но, возможно, что «троглодиты», как практические деятели, верно учитывали принадлежность Кравчинского к их организации.

Дело в том, что в описываемое мною время «Северная организация» еще не пользовалась большой известностью: за нею еще не числилось много громких фактов, и в ее состав не входили особенно популярные лица, за исключением одного только Г. В. Плеханова, прославившегося речью, произнесенной им во время демонстрации на Казанской площади 6-го декабря 1876 г. Но Кравчинский был тогда среди молодежи значительно более популярен, чем Плеханов. Он, поэтому, если можно так выразиться, являлся очень выгодной приманкой. К тому же, у него имелись многочисленные деловые связи и знакомства, каковые все и всех старавшиеся тогда об'единить «троглодиты» могли при случае утилизировать.

С лета указанного мною выше года к названной организации стали присоединяться такие лица, которые еще незадолго пред тем не желали этого, и в общество «Земля и Воля», как вскоре затем начала называться «Северная организация»,—вошли почти все наиболее известные и важные революционеры, стоявшие особняком или принадлежавшие к другим организациям, а также и самые выдающиеся «чайковцы», освобожденные по Большому процессу. В числе последних были недавний редактор «Москов-

ских Ведомостей» Лев Тихомиров, Софья Перовская, Дмитрий Клеменц, Мих. Фроленко, Ник. Морозов и др.

Само собою разумеется, я вовсе не хочу этим сказать, что в присоединении всех перечисленных лиц к обществу «Земля и Воля» главную или даже преобладающую роль сыграло то обстоятельство, что Кравчинский примкнул к нему. В указанном году названное общество в сильной степени увеличило свою популярность, благодаря нескольким удачным актам, совершенным его членами, а также благодаря выпуску печатного органа—«Земля и Воля». К тому же и общие условия страны в то время,—о чем я уже говорил в другом месте [1]),—в значительной степени повлияли на изменение взглядов многих лиц, что еще более сблизило людей, незадолго пред тем различно смотревших на некоторые теоретические вопросы и на приемы революционной борьбы. Однако, полагаю, не будет преувеличением, если скажу, что более раннее, чем почти всех других популярных лиц, вступление Кравчинского в число членов «Северной организации» также вероятно, имело некоторое значение в смысле сглаживания кое-каких шероховатостей. Своим примирительным нравом и дружбой, как с теми, так и с другими лицами, Кравчинский, естественно, являлся тем звеном, которое способствует сплочению и об'единению разных людей.

III.

От «троглодитов» не укрылось, конечно, что у Стефановича и у меня быстро установилась большая близость с Сергеем. Этим обстоятельством они захотели воспользоваться, чтобы повлиять на него по следующему важному поводу.

В первых числах июля к нам в Лесное приехал Александр Хотинский, один из наиболее преданных и развитых членов названной организации, и сообщил, что он должен поговорить с нами по чрезвычайно важному делу. Обыкновенно очень спокойный, тихий, уравновешенный Александр на этот раз произвел на меня впечатление чем-то крайне возбужденного, взволнованного человека.

— Случилось большое несчастье!—начал он тихо, когда из предосторожности, чтобы кто-нибудь из соседей не подслушал нашего разговора, мы с ним пришли в парк.—Организация послала меня просить вас обоих приехать немедленно в Питер, чтобы помочь нам. Дело идет о жизни Сергея: вы наиболее близки с ним...

---

[1]) См. мою статью «На рубеже» в «Вест. Евр.» 1912 г., VII кн.

— Да в чем дело?—воскликнули мы оба в нетерпении и тревоге, ожидая услышать что-нибудь чрезвычайно печальное.

— Вчера «голубь» [1]) принес письмо о сидящих в Петропавловке,—начал Хотинский тихим шопотом, хотя на далеком расстоянии вокруг нас в тот ранний утренний час в парке никого не было.—Вы знаете, там содержатся непомилованные по Большому процессу, в ожидании их отправки в Сибирь.

— Знаем, рассказывайте, пожалуйста, скорее!—воскликнул я в чрезвычайной тревоге.

— Так вот, вследствие разных стеснений и лишений, которым их подвергли, по распоряжению шефа жандармов, они об'явили голодовку. Когда Сергей узнал, что они уже 3-4 дня не принимают пищи, он изменился в лице и затем после непродолжительного молчания решительно заявил: «Завтра ген. Мезенцов будет убит во время приема посетителей!». Мы старались отклонить его от этого, но он упорно стоит на своем. Наша надежда теперь на вас: может быть, он вас послушает.

— Но какое основание имеем мы отговаривать Сергея?—спросил я.—Он не из тех, которых можно отклонить от принятого им решения. К тому же, я лично не вижу в этом и надобности.

— Большой вопрос, удастся-ли ему отомстить Мезенцову,—возразил Хотинский,—но что он сам погибнет, это несомненно.

— Так необходимо обставить это предприятие таким образом, чтобы у Сергея были шансы на спасение,—сказал я и затем быстро набросал план, по которому Кравчинский должен был произвести свое нападение не в квартире Мезенцова, а на улице, причем поблизости кто-нибудь из товарищей ожидал бы его с запряженным в кабриолет знаменитым рысаком Варваром,—лошадь эта, как известно, раза два уже до того играла роль спасителя преследуемого: на ней спасся П. Кропоткин из Николаевского военного госпиталя и Пресняков из Московского участка.

Предложенный мною план был одобрен товарищами. Хотинский выразил лишь сомнение, согласится ли Сергей принять его. Мы все трое тотчас же отправились в город, чтобы склонить его к этому плану убийства ген. Мезенцова.

Ни по внешности Сергея, ни по интонации его голоса совершенно нельзя было бы заключить, что им принято решение, за которое он мог поплатиться жизнью. Как всегда приветливо поздоровавшись с нами, он с обычной добродушной улыбкой спросил:

---

[1]) Лицо, служившее для сношений между заключенными и волей.

*

— Неужели и вы пришли уговаривать меня, чтобы я отказался от моего намерения?

— Нисколько!—ответил я.—Мы только хотим внести в него некоторые изменения и дополнения.

Когда затем я изложил ему мой проект, он, подумав немного, понурил голову, и насупив брови, сказал:

— План твой хорош, но мне крайне неприятно пойти на такое дело, оставив за собою шансы на спасение.

Тогда все мы стали ему доказывать, что в наших условиях рыцарские нравы и приемы немыслимы. После непродолжительного спора он заявил:

— Что же, раз вы все на этом настаиваете, я уступаю, но знайте, что я встречу Мезенцова лицом к лицу, а не нападу на него сзади.

В Кравчинском было много истинно благородных, рыцарских черт, что он неоднократно и проявлял в разных случаях его богатой событиями и приключениями жизни. В этом отношении у него было много общего с Плехановым и с другими бывшими военными участниками нашего революционного движения.

Его готовность произвести этот насильственный акт вызвана была не одними только преследованиями политических со стороны ген. Мезенцова. Это обстоятельство явилось лишь предлогом, последней каплей к ранее уже существовавшей у него склонности к подобного рода актам. Его товарищ, сочлен по кружку чайковцев Сергей Синегуб в напечатанных им воспоминаниях (в «Былом» за 1906 г.) рассказывает, как он и другие заключенные в Петропавловской крепости, узнав об этом решении Кравчинского, уговаривали его отказаться от него, находя недостаточным повод и жалея Сергея, но он не согласился исполнить просьбу даже этих непосредственно заинтересованных в его акте, к тому же наиболее ему близких, людей.

Школьный товарищ Кравчинского—Л. Шишко сообщает, что «романтические стороны характера Кравчинский проявлял еще до вступления в кружок чайковцев» и что «эти черты всего сильнее отражались на революционном его миросозерцании». Такими же, как нам известно, они остались в течение всей последующей его жизни.

По сообщению же Л. Шишко, Кравчинскому с юных лет был присущ «культ героев». Еще будучи в Михайловском артиллерийском училище, путем чтения по истории Великой французской революции, а также истории цивилизации в Англии Бокля, он выработал себе теорию, по которой «главную роль» в мировых событиях играют не массы, не «толпа», а отдельные, особенно выдающиеся личности. Так, по сообщению Л. Шишко,

Кравчинский был убежден, что и Французскую революцию совершила «небольшая кучка людей». Естественно, поэтому, что и переворот в России ему представлялся нетрудным: «стоило только явиться нескольким сильным и энергичным вождям»,—как сообщает Л. Шишко.

Столь утопический взгляд был присущ ему не только в юные годы, но и в зрелом возрасте; при этом, несмотря на чрезвычайную его скромность, он и себя причислял к тем немногим «вождям», которые «творят исторические события», на что он несомненно имел полное основание.

Как вполне правильно указывает далее Л. Шишко, «Кравчинского никогда не могла удовлетворить систематическая, коллективная общественная деятельность, и он всегда стремился к более или менее единоличному участию в общественной борьбе,—ему необходим был личный подвиг» [1]).

Приведенные взгляды и черты характера Кравчинского лишь отчасти об'ясняют, почему летом 1878 г. у него явилась решимость совершить насильственный акт. Вполне понять это мы сможем, только познакомившись как с его предыдущей жизнью, так и с пережитым нашим обществом настроением в описываемое мною время.

IV.

Как известно, в 60-х годах минувшего столетия, под влиянием многих факторов, о которых бесконечное число раз сообщалось уже в нашей прессе, у лучшей части нашего передового общества, а особенно у молодежи, явилось непреодолимое стремление к честному, бескорыстному служению родине и вообще угнетенным массам. Этот порыв охватил, главным образом, лиц, так сказать, гражданского ведомства, но он коснулся также и воспитанников некоторых военно-учебных заведений.

В цитированном мною очерке Л. Шишко рассказывает, какое на него, тогда юнкера, впечатление произвела статья Писарева «Наши реалисты». Она, сообщает он, впервые открыла ему глаза, выяснив «огромные обязанности, лежащие на каждом человеке по отношению окружающего его общества»... «Она и вызвала тогда во мне целый душевный переворот, и ею, в сущности, определилась с того самого момента программа всей моей жизни: цель личного существования была найдена тогда мною [2])».

Не могу припомнить, рассказывал ли мне Кравчинский о том, что именно впервые разбудило его мысль. Несмотря на до-

---

[1]) Л. Шишко «С. М. Кравчинский и кружок чайковцев», стр. 9—11. Изд. Распопова. СПБ. 1906 г.

[2]) См. стр. 4.

вольно большую его откровенность и разговорчивость с близкими, он очень мало сообщал о своем детстве, отрочестве и юности. Не припомню также, чтобы он рассказывал что либо о своих родных. Знаю только, что отец его был военным врачем и что родился он в Херсонской губернии. Приятель его, украинофил Драгоманов, причислял его к малороссам, так как мать его была малороссиянкой; сам же Кравчинский считал себя «ни в тех, ни в сех», в качестве получившего общее русское образование уроженца степной губернии, отсюда проистекает и выбранный им себе впоследствии псевдоним «Степняк».

Учился Кравчинский в орловской военной гимназии прекрасно, поражая товарищей своими замечательными способностями, в особенности—памятью и усердием; там он обладал большою страстью к чтению. По окончании этого учебного заведения, он поступил в артиллерийское училище. Л. Шишко в своем интересном очерке дает нам довольно много сведений об этом и дальнейшем периоде жизни Кравчинского.

«Это был чрезвычайно серьезного и даже мрачного вида юноша; немного сутулый, с большой головой, массивным лбом и резкими чертами лица»,—сообщает Л. Шишко о своем товарище, юнкере Кравчинском.—«Кравчинский вечно сидел за книгами у своего столика и мало с кем разговаривал. Даже переходя из одной комнаты в другую, он продолжал читать».

Далее Л. Шишко сообщает, что Кравчинский был значительно развитее всех остальных юнкеров, что у него «тогда уже был вполне определенный революционный взгляд на Россию и были кое-какие знакомства среди петербургских радикальных кружков».

При указанных чертах и свойствах Кравчинского, он, конечно, не мог удовлетвориться службой в какой-то батарее, куда, в качестве офицера, он был отправлен, по окончании артиллерийского училища. По словам Л. Шишко, Кравчинский уехал на службу, заранее имея намерение бросить ее, как только скопит из получаемого скудного жалованья необходимую сумму на обратный проезд в Петербург. На службе он вел тот же образ жизни, что и в училище, т. е. все свободное время проводил за книгами.

— Чтобы избавиться от докучных посещений,—рассказывал он впоследствии,—у меня в комнате была всего одна табуретка, на которой я сам сидел.

По выходе в отставку, весной 1871 г., Кравчинский вернулся в Петербург, где поступил в число студентов Лесного института, в котором, если память мне не изменяет, брат его состоял профессором. Но не долго пробыл он в этом учебном заведении: уже

осенью того же года мы видим его в числе деятельнейших и наиболее выдающихся членов знаменитого кружка чайковцев. Как я уже выше упомянул, Кравчинский одним из первых вообще и первым из чайковцев отправился в народ. Вот что Л. Шишко, провожавший его на вокзал, сообщает об этом.

«Он был в посконной рубахе и серой поддевке с узелком под мышкой. Кроме меня, его провожала незнакомая мне бледная женщина с интеллигентным лицом и заплаканными глазами. Кравчинский был по обыкновению очень оживлен, много говорил и метался по вокзалу, не обращая никакого внимания ни на свой костюм, ни на стоявших подле жандармов. Но вот зазвонил звонок, мы простились, и он уехал... Это было в июле или в августе 1873 г. [1])».

Благодаря присущим Кравчинскому способностям, знаниям и энтузиазму, он явился талантливым пропагандистом и агитатором, имевшим относительно большой успех среди крестьян.

Несмотря на усиленные розыски его полициею, он не принимал решительно никаких мер предосторожности, и эта-то его беспечность, по его убеждению, спасала его от ареста. Ему совершенно не было знакомо чувство опасности. При этом, как утверждает Л. Шишко, что и мне кажется верным, «отсутствие всякой боязни за себя развито было в нем усилиями воли и продолжительной практикой».

Чуть-ли не насильно удалось товарищам сплавить его за границу. Но там он не находил для себя всепоглощающего дела, а потому, как я уже упомянул, или возвращался нелегально в Россию, или метался по Зап. Европе, то устремляясь на Балканский полуостров, в качестве волонтера, то участвуя в вооруженной демонстрации в Италии [2]).

Очутившись, вследствие смерти Виктора-Эммануила, неожиданно для себя вновь на воле весной 1878 г., Кравчинский отправился в Швейцарию, где вместе с другими принял участие во вновь возникшем тогда журнале «Община». В это именно время Вера Засулич произвела покушение на петербургского градоначальника ген. Трепова за отданное им распоряжение подвергнуть телесному наказанию Боголюбова.

Без малейших преувеличений можно сказать, что едва-ли на кого-либо из современников смелый поступок ее произвел

---

[1]) См. стр. 29—30.

[2]) Иванчин-Писарев в своих воспоминаниях сообщил много интересного о своих встречах с Кравчинским в описываемое время в Париже, где тогда проживал и Глеб Успенский. Между прочим, по его словам, Успенский считал Кравчинского чрезвычайно талантливым писателем.

такое сильное впечатление, как на Кравчинского. Лучшим доказательством этому может, мне кажется, служить его статья, посвященная этому делу. В пламенном, страстном дифирамбе, вылившемся из его души, можем прочитать такие слова, с которыми он обращается к Вере Засулич:

«Имя твое с благоговением повторяется во всех концах земли и будет повторяться из рода в род, пока говорится на человеческом языке.

«Отдаленное потомство, разбив свои оковы, свободное, счастливое, тебе воспоет свою хвалебную песнь, потому что в ряду тех подвигов, которыми куплено будет его счастье, твой— один из величайших.

«Бессмертная в истории, ты будешь бессмертна в поэзии, потому что не одного великого поэта вдохновит твой образ» [1]).

Не знаю, конечно, как на счет «отдаленного потомства» и о «всех концах земли», а также будущего «вдохновения великих поэтов»,—сильно сомневаюсь в этом, так как всего полтора-два десятка лет спустя, мне от русских же интеллигентных молодых людей приходилось слышать: «А кто такая *София* Засулич?»;

Со стороны Кравчинского только-что указанные поэтические преувеличения были вполне естественны, особенно если примем во внимание, что они сделаны были им тотчас после оправдания В. Засулич присяжными, и если вспомним, какой с юных лет у него выработался взгляд на «отдельных лиц, творящих историю»...

Под влиянием же дела Засулич Кравчинский вернулся в мае того года в Петербург с внутренней уже готовностью совершить аналогичный ее поступку акт. Для этого нужен был только подходящий повод.

Не будь мы, «чигиринцы», тогда в Петербурге, Кравчинский, вероятно, повторил-бы, как он намеревался то сделать, прием В. Засулич. Не подвернись ген. Мезенцов, он воспользовался бы другим каким-нибудь лицом и поводом. Подтверждением этому может отчасти служить тот факт, что, как я уже выше сообщил, заключенные в Петропавловской крепости энергично старались отклонить его от его решения, а он все же не отказался от своего плана.

В беглых чертах изображенное мною выше прошлое Кравчинского, с другой стороны, об'ясняет также, почему, как я уже упомянул, он тогда мало интересовался народничеством, хотя, в то же время, намеревался стать редактором органа этого именно направления.

---

[1]) «Община», №№ 3 и 4, стр. 18.

Когда Кравчинский, как мы видели, метался за границей в поисках живого дела, среди уцелевших от многочисленных арестов остатков прежних кружков, а также и примкнувших к ним новых лиц, под влиянием постигшего первых пропагандистов поражения, началась критика практиковавшегося ими способа деятельности так называемого «летучего, мимолетного хождения в народ». Непосредственные столкновения пропагандистов с крестьянами убедили их в том, что у народа имеются свои собственные, выработанные долгим периодом, идеалы, в которых очень много общего с основами социализма. Приверженность наших земледельцев к общинной форме владения, их взгляд на землю, как на общее достояние, которым все желающие на ней работать могут пользоваться, привычка крестьян к совместному, артельному труду,—все это, в связи с начавшимся в то время знакомством революционеров и с литературой, разрабатывавшей эти основы народной жизни, способствовало тому, что в средине 70-х годов, когда Кравчинский чуть не дошел до психического расстройства, начало складываться у нас новое мировоззрение, ставшее вскоре известным под названием «народничество». В его разработке и формулировке главная роль принадлежит Г. В. Плеханову, который, несколько лет спустя, такую же, если не большую еще роль сыграл и в деле распространения у нас марксизма.

Весь период критики старых способов и выработки этого «народнического» направления Кравчинский провел в скитаниях. Ему, поэтому, оно было чуждо. К тому же, его возвращение на родину совпало с начавшимся увлечением актами насильственной борьбы, к которым, в виду общего склада его характера, воззрений и настроения, он с давних пор, как мы уже знаем со слов Л. Шишко, имел большую склонность.

V.

Для осуществления плана нападения на ген. Мезенцова на улице требовалось некоторое время: необходимо было привести рысака Варвара из Москвы, где он в то время почему-то находился, нужно было проследить за выходами шефа жандармов и пр. Кроме того, для обеспечения большей безопасности Кравчинского, на случай возможного преследования его, кто-то предложил, чтобы его сопровождал смелый, решительный товарищ, который в нужную минуту мог-бы притти ему на помощь.

Готовность взять на себя эту роль выразил Александр Баранников, и все мы немедленно признали его наиболее других подходящим для этого лицом.

Бывший воспитанник Павловского военного училища, Александр Иванович Баранников, как по характеру, так и по внешности и манерам сохранил многие черты, свойственные военно-служащим. Он отличался выдающейся отвагой и хладнокровием, что неоднократно было проявлено им в разных насильственных предприятиях. Как это нередко случается у людей с практическим складом ума, Баранников совершенно не любил никаких препирательств, а если он делал какое-либо замечание, то оно выходило у него по-военному,—отрывистым басом, словно он отдавал команду.

При смуглом цвете кожи и черных волосах, Баранников имел суровое выражение глаз и, вообще, производил впечатление человека черствого и одностороннего. Но, насколько я успел узнать его,—мы с ним познакомились весной 1877 года,—он был очень отзывчивым, чутким юношей, искренно преданным трудящимся массам и способным ради них на любой альтруистический поступок. Неумолимым он являлся только по отношению тех, которых считал врагами народа. Между прочим, любимой его фразой, помню, было: «мне жандарма зарубить, что капусту крошить». Конечно, никто из нас не принимал эту его фразу всерьез, в буквальном смысле.

Узнав о намерении Кравчинского, он также выразил готовность взять на себя исполнение этого акта мести целиком, но в ответ на его предложение Кравчинский заявил:

— Мезенцов мой, и я никому не уступлю его!

Пока шли приготовления, что продолжалось недели две, я несколько раз видался с Кравчинским. Меня интересовало, как он себя чувствует и что думает по поводу предстоявшего ему насильственного акта.

Все это время он был совершенно спокоен,—словно впереди ничто особенное не угрожало ему: на лице появлялась его обычная улыбка и на вопрос об испытываемых им ощущениях, он отвечал:

— Да ничего особенного! Неприятно только, что дело так надолго затягивается.

VI.

Утром 4-го августа, во время обычной прогулки ген. Мезенцова по Михайловской площади, в сопровождении подполковника Макарова, встретивший их прилично одетый господин нанес шефу жандармов удар кинжалом в грудь. Увидев это, подполковник Макаров замахнулся на Кравчинского зонтиком и сделал попытку схватить его. Но сопровождавший его Баранников про-

извел выстрел, после чего оба они сели в стоявший по близости кабриолет и быстро скрылись из виду.

Это отчаянное нападение на шефа жандармов в центре столицы произвело неимоверно сильное впечатление на всех. Были приняты самые энергичные меры к розыску умчавшихся на виду у многих прохожих революционеров, но все поиски, как их, так и лошади, остались тщетными.

Между тем, Кравчинский, вынужденный, вследствие этого происшествия, расстаться со своим княжеским титулом и насиженной квартирой, продолжал, однако, пребывать в Петербурге.

Покончивши с ген. Мезенцовым, умершим в тот же день от полученной им раны, Кравчинский принялся за писание брошюры, об'яснившей его поступок, каковая вскоре и появилась, под названием «Смерть за смерть», в Петербурге, в «Больной типографии».

Убийство шефа жандармов Кравчинский в ней об'яснил, как акт мести за преследования революционеров, выразившиеся в отказе смягчить приговор осужденных по Большому процессу и во всевозможных стеснениях заключенных в Петропавловской крепости. Кроме этих причин, автор выставил также казнь Ивана Ковальского, состоявшуюся в Одессе всего накануне убийства ген. Мезенцова, что многие тогда справедливо находили искусственно притянутым мотивом, так как приготовления к нападению на шефа жандармов должны были начаться задолго до казни Ковальского.

Неменьшее недоумение брошюра эта вызвала у некоторых читателей тем развитым в ней взглядом, что в намерения социалистов совершенно не входит борьба с правительством. Автор заявлял: раз правительство прекратит преследования революционеров, предоставив им вести борьбу с эксплоататорами народа, они также не будут направлять против его представителей своих ударов. Выходило, следовательно, так, будто власти могут предоставить социалистам право бороться с «буржуазией» и, скрестив руки, спокойно наблюдать, что из этого выйдет. Это предложение автора правительству показалось некоторым очень наивным. Наиболее резко, помню, нападал на эту брошюру проф. М. П. Драгоманов. Но большинству из нас, принадлежавших тогда к принципиальным противникам политической борьбы, оригинальное с современной точки зрения предложение Кравчинского правительству нисколько не казалось странным и неосуществимым. К тому же наиболее юных из нас подкупал приподнятый тон автора, его живые образы и сравнения, что некоторые находили чрезвычайно поэтичным.

Полиция, между тем, не прекращала своих розысков. Месяца два спустя, после убийства ген. Мезенцова, ей удалось напасть на след: у художницы Малиновской был произведен обыск, при чем жившая у нее Мария Каленкина оказала вооруженное сопротивление. Малиновская и ее гостья были арестованы, а в квартире оставлена была засада, что вскоре привело к аресту многих членов общества «Земля и Воля». Совершенно случайно уцелел Кравчинский, который, как мы знаем, часто навещал Малиновскую.

На немногих оставшихся на воле «троглодитов», главным образом, Александра Михайлова, Кравчинского, Г. В. Плеханова, Морозова и Клеменца пала тяжесть восстановления произведенных арестами потерь в организации. Ими привлечены были новые лица, восстановлено паспортное бюро и выпущен был столь давно и с напряженным нетерпением ожидавшийся молодежью и обществом первый номер газеты «Земля и Воля».

Таким образом, у немногих лиц, составлявших «революционный штаб», была масса работы, но более всех других обнаружил энергии, настойчивости и выдержки Александр Михайлов. В виду усиленных розысков полициею Кравчинского, слух о пребывании которого в Петербурге распространился, отчасти вследствие его беспечности, среди многих и дошел до «третьего отделения», приходилось примириться с мыслью расстаться и с ним. Товарищи стали убеждать его, чтобы он отправился, хотя бы на время, за границу. Но Кравчинский и слышать не хотел об этом. Когда весной того года он приехал в Петербург, то заявил, что теперь уже навсегда останется в России.

— То-есть до ареста,—заметил ему кто-то из товарищей.

— Нет, до победы,—возразил он.

И вот теперь, когда «победа» далеко еще не была одержана, и оставалось столько работы, столько планов и надежд,—уехать за границу, хотя бы на короткое время, Кравчинскому казалось чуть-ли не равносильным бегству с поля сражения. Что же касается опасности быть арестованным, то, как мы уже знаем, Кравчинский не только не боялся ее, но нередко чрезмерно даже пренебрегал ею.

Убедившись в невозможности склонить его путем доводов и просьб, товарищи решили пустить в ход небольшую хитрость: они предложили Кравчинскому отправиться за границу для изучения приемов приготовления динамита, так как в то время этого еще не знали революционеры.

После некоторого колебания Кравчинский принял это предложение.

— Но имейте в виду: я еду на самое короткое время!—заявил он.

— Конечно, конечно!—ответили ему.

В ноябре того же 1878 г. он уехал и более уже никогда не возвращался на родину.

Шесть месяцев, проведенные Кравчинским в последний раз в Петербурге, составляли один из наилучших моментов в его жизни. Впоследствии он чаще всех других периодов останавливался на этом времени. В его воспоминаниях о нем оно освещалось каким-то особенно ярким и привлекательным светом. События, в которых ему самому пришлось принимать участие или только наблюдать их в то время, представлялись ему потом чрезвычайно важными, крупными. Из этого периода, как известно, Кравчинский почерпнул затем весь материал для лучших своих произведений: большинство выведенных в «Подпольной России» лиц взяты им из этого периода, а среди действующих лиц его романа «Андрей Кожухов» нам, современникам, не трудно было узнать многих из числа тех, среди которых Кравчинский вращался в описанное мною выше полугодие.

VII.

Приятели Кравчинского, находившиеся зимой 1878—9 годов в Женеве—П. Б. Аксельрод, М. П. Драгоманов, П. А. Кропоткин, а также и мы со Стефановичем, Бохановским и В. Засулич, жившие там уже месяца два-три, в немалой степени были удивлены, когда в одно дождливое ноябрьское утро увидели пред собою внезапно явившегося Сергея. Он, понятно, тотчас же заявил, что приехал за границу лишь на самое короткое время. Но полученное нами вслед за ним письмо из организации «Земля и Воля» вполне об'яснило нам истинное положение дела.

Если наше с Кравчинским одновременное пребывание в минувшее пред тем лето в Петербурге, несмотря на наши редкие там встречи, все же способствовало нашему с ним сближению, то, само собою разумеется, совместная жизнь в Женеве, где ничто не мешало нашим частым свиданиям, еще в большей степени связала нас с ним. За редкими исключениями, мы видались ежедневно, проводя время, главным образом, в обсуждениях всяких вопросов, связанных с судьбами нашей родины.

Вышло как-то само собою, что образовался небольшой, но довольно тесный кружок, в который, кроме Кравчинского и нас, трех «чигиринцев», входили Вера Ивановна Засулич и П. Б. Аксельрод. Никаких специальных целей мы себе не ставили: нас, кроме единства взглядов, связывало одинаковое прошлое, недавний приезд из России и намерение вскоре вернуться обратно

на родину, между тем как к большинству остальных эмигрантов принадлежали лица, уже много лет пред тем оставившие Россию и не собиравшиеся «нелегально» вернуться назад.

Но, кроме членов нашего тесного кружка, Кравчинский был близок также и со своим старым товарищем, бывшим «чайковцем» П. А. Кропоткиным, а отчасти и с проф. М. П. Драгомановым, с которым он познакомился во время весеннего его пребывания в Женеве, после освобождения из итальянской тюрьмы и перед от'ездом в Россию.

Большею частью члены нашего тесного кружка сходились на квартире, которую занимали мы, «чигиринцы», или, как нас также звали приятели,—«хлопцы». Шли общие, шумные разговоры и диспуты. Редко приходилось оставаться наедине с Кравчинским.

Помню, однажды, вскоре после его приезда, я спросил его, что он испытывал во время нападения на Мезенцова.

— Я долго подготовлялся к этому,—ответил он.—Вполне владел собою и был уверен, что рука моя не дрогнет, но внутренно я все же чувствовал себя нехорошо: тяжело подымать руку на другого, даже если это шеф жандармов...

Больше мы никогда не возвращались к этой тяжелой теме.

Вскоре к нашему кружку присоединилась бежавшая из Сибири Ольга Спиридоновна Любатович, судившаяся по Московскому процессу (50-ти) [1]).

С ее приездом у Кравчинского совпала спешная работа по переводу какого-то итальянского романа, и он реже стал забегать к нам, но не так уже редко, как сообщает об этом О. С. Любатович.

Вследствие присущей ей «скромности», она изображает отношения Кравчинского к ней так, что всякий вправе заключить, будто она не только была наибольшим, но к тому же и единственным его другом. Но в ее изображении имеется значительное преувеличение.

Не говоря уже про Д. А. Клеменца, находившегося в то время в России, а также Анны Михайловны Эпштейн, жившей тогда в Берне, являвшихся самыми старыми и закадычными друзьями Кравчинского,—у него осталась в Петербурге невеста, ставшая вскоре по приезде в Женеву—весной 1879 г.—его женой, к которой он питал горячую и прочную любовь до самой

---

[1]) Впоследствии, в своих воспоминаниях, помещенных в «Былом» (за 1906 г.), она очень подробно, хотя, к сожалению, совсем не точно, сообщила об этом периоде нашего совместного пребывания в Швейцарии.

своей смерти. Ясно из этого, что в воспоминаниях Ольги Любатович правда в сильной степени перемешана с вымыслом.

Мягкая, нежная натура Кравчинского и его доброе, гуманное отношение способствовали тому, что к нему, как я уже сказал, все быстро проникались расположением и доверием. В этом отношении особенно большой успех он имел среди молодых представительниц женской половины человечества. За крайне редкими исключениями, каждая молодая женщина, обладавшая симпатичными чертами характера, на время пользовалась особенным его вниманием,—он готов был оказывать ей мелкие услуги, помогал в устройстве, а, главное, проводил с нею часы досуга в разговорах «по душе», что его старым друзьям и приятелям давало поводы к шуткам и остротам. Среди юных почитательниц его также имели наибольший успех его литературные произведения. Сведущие люди утверждали даже, что эти поклонницы его обливались слезами при чтении тех первых его произведений, о которых впоследствии он не любил даже вспоминать, в виду их слабости.

В период нашего с ним знакомства он совершенно не страдал авторским самолюбием и не только спокойно, но и с добродушным смехом выслушивал самые резкие отзывы о своих произведениях. Помню, напр., такой случай из первых дней нашего с ним знакомства.

Зашла у нас речь о нелегальных книжках для народа. Не зная, кто автор «Сказки о копейке», я самым беспощадным образом разнес ее.

— Ха, ха, ха! — раздался вдруг веселый смех Кравчинского.—Здорово же ты разделал мое детище!—воскликнул он, и затем сам согласился, что это крайне неудачная брошюрка.

Пока Кравчинский писал, он вкладывал в работу всю свою душу, — весь бывал поглощен ею. Когда же произведение его было готово, он мог относиться к нему вполне об'ективно и не только охотно соглашался с указаниями других, но и сам вскоре умел находить его слабые места, промахи и ошибки.

На ряду с этим, Кравчинскому совершенно чужды были чувства соперничества или зависти. Он, наоборот, неимоверно радовался всякому вновь появлявшемуся на каком-либо поприще лицу, имевшему в чем-нибудь успех.

Как человек, в сильной степени поддававшийся впечатлениям и настроениям, Кравчинский лишь периодами увлекался литературной работой. Такой период наступил, когда его освободили из итальянской тюрьмы. Приехав после этого в Женеву, он принял самое деятельное участие в основанной незадолго пред тем его друзьями газете «Община». Ему при-

надлежит передовая в № 2-м, вышедшем в феврале, и там же помещенный рассказ о «Беневентской попытке», к сожалению, почему-то неоконченный. В следующем двойном номере им написана выше уже цитированная мною статья о деле Веры Засулич. На ней прекратилось его дальнейшее сотрудничество в «Общине», вследствие его возвращения в Россию. Там, насколько могу теперь припомнить, им написаны были лишь выше названная брошюра «Смерть за смерть» и передовая статья в 1-м номере «Земли и Воли», вышедшем осенью того же года. На этом на долгое время прекратилась его литературная работа, так как, живя за границей, он не послал ни единой статьи ни в «Землю и Волю», ни затем в «Народную Волю», хотя и разделял воззрения той и другой газеты. Мало того: начиная с зимы 1877—8 гг. вплоть до конца 1881 г. Кравчинский вообще ничего не написал самостоятельного, кроме переводов.

Столь продолжительное молчание со стороны талантливого литератора, пользовавшегося огромной популярностью, особенно в такой замечательный момент, каким были три указанные года в нашем освободительном движении, когда возник значительный спрос на писателей, и Лев Тихомиров по необходимости явился почти единственным выразителем восторжествовавшего направления, многим должно показаться чрезвычайно странным. Но это обстоятельство станет нам вполне понятным, если вспомним все свойства Кравчинского и условия, в которых он жил тогда за границей.

Кравчинский, прежде всего, никогда не был публицистом, и все попытки его в этом отношении надо признать крайне неудачными. Он не умел откликаться на животрепещущие вопросы, занимавшие передовой, крайний лагерь. Он не умел указывать направления, по которому должны были идти лица, стремившиеся работать на политическом поприще. При огромной популярности и всеобщей симпатии, которыми пользовался Кравчинский, он не мог вести других за собой и никогда не пытался делать этого.

Особенно трудно было бы для него откликаться на современные события в год возникновения «Земли и Воли». То было переходное время в нашем движении. Между тем как «деревенщики», как тогда начали называть лиц, оставшихся среди крестьян, продолжали считать деятельность в народе главной, другие члены общества «Земля и Воля», находившиеся в городах, подвергали сомнению целесообразность этой деятельности.

Таким образом, получилось нечто в высшей степени странное и запутанное: выход первых же номеров газеты, ставившей себе целью развитие и укрепление среди сторонников край-

него лагеря принципов народничества, совпал с начавшимся уже в этой среде тяготением к совсем другого рода приемам борьбы, не имевшим ничего или очень мало общего с деятельностью среди народа. В своем органе сторонники «Земли и Воли» находили статьи, доказывавшие необходимость и плодотворность организации народных масс, и в то же время они кругом себя слышали об успехах, какие имели насильственные акты, совершавшиеся в городах против должностных лиц.

Такое противоречие между проповедью газеты и практикой жизни не могло, конечно, вызвать особенного стремления отправляться в «поселения», имевшиеся у общества «Земля и Воля» в некоторых местностях; наоборот, как известно, в год основания народнического органа началось бегство из деревень в города.

Кравчинский, как и мы, остальные, недавно прибывшие за границу, еще не замечал начавшегося перелома во взглядах и настроении оставшихся на родине товарищей. Собираясь вместе, мы продолжали толковать о наилучших способах и приемах деятельности среди крестьян и отмечали свои прежние промахи и ошибки. А из России в это время приходили известия о новых вооруженных сопротивлениях, о насильственных освобождениях заключенных товарищей и о нападениях на должностных лиц.

Какого рода статьи мог бы Кравчинский писать из-за границы в «Землю и Волю»? По присущему ему темпераменту, а также и взглядам, усвоенным с юных лет, все его симпатии были на стороне насильственных приемов. Но, как человек умный и чуткий, он не мог не заметить вскоре противоречия, возникшего между народнической программой и устанавливавшейся практикой.

В виду этой двойственности создавшегося положения, Кравчинский, никогда сам не причислявший себя к теоретикам движения, не мог, да и не знал, о чем и как писать в указанное время.

— Им там лучше видно!—говорил он, когда у нас с ним заходила речь о тех или иных фактах, происходивших в России, или о статьях, помещавшихся в «Земле и Воле».

Писать же полубеллетристические очерки, как Кравчинский стал впоследствии, в описываемое время ему еще не пришло на ум, да тогда едва ли это было удобно по конспиративным соображениям.

Раньше всех других на противоречие между теорией русских народников и их практической деятельностью стал указывать проф. Драгоманов.

— Русские социалисты,—говорил и писал он,—сами того не сознавая и даже высказываясь против этого, стремятся к завоеванию политической свободы.

Кравчинский, как и мы, остальные, старался опровергнуть Драгоманова, заявляя, что он видит политическую борьбу там, где ее и в помине нет, так как мы, мол, совершаем только акты самозащиты.

По складу своего ума и характера, Кравчинский, причислявший себя к «бакунистам», следовательно, к противникам завоевания политической свободы, тем не менее не был столь ярым отрицателем конституционного образа правления, какими были некоторые из нас.

Припоминаю один спор с ним по поводу статьи его друга, Д. Клеменца, в одном из первых номеров «Земли и Воли», в которой я усмотрел призыв к политической борьбе для завоевания конституции. Я до невозможности горячился, наговорив много резкостей по адресу автора этой статьи, и в заключение ушел, ни с кем из присутствовавших не попрощавшись. Но на следующий день мы встретились с ним, как добрые товарищи.

— Ты не сердишься?—спросил я.

— Нисколько!—ответил он со своей обычной улыбкой.— Ведь я видел, что ты погорячился.

И мы оба посмеялись. То была единственная за все время нашего приятельства размолвка, если можно так назвать наш спор.

VIII.

Общественный и революционный под'ем, возникший после окончания русско-турецкой войны, совпавшего с делом Веры Засулич и с другими крупными фактами, отразился отчасти и на жизни эмигрантов в описываемое мною время.

С прекращением издания газеты и журнала «Вперед» в 1876 г., за границей не выходило никакого другого органа, имевшего сколько-нибудь значительное распространение и влияние среди действовавших в России революционеров. Ткачевский «Набат» хотя и продолжал появляться, но, вследствие якобинского своего направления, не пользовался ни малейшей популярностью и едва ли насчитывал больше десятка последователей в России и среди эмигрантов. Таким образом, игравшая в начале 70-х годов очень значительную роль в нашем движении эмигрантская пресса во второй половине того же десятилетия почти совершенно замолкла.

Но в январе указанного мною года в Женеве начал выходить очень дельный и содержательный орган, сразу приобрев-

ший большое влияние. То была «Община», в которой, как я уже сообщил выше, Кравчинский вначале принимал большое участие. Даже очутившись весной 1878 г. в Петербурге, он заботился о ее распространении, для чего на видном месте в его комнате лежал полуоткрытый чемодан с номерами «Общины», и каждый из его многочисленных посетителей, доставая их, тут же читал в ожидании его возвращения или уносил с собою домой.

Но не меньшее оживление, чем появившийся новый орган за границей, в жизнь эмигрантов внес в том году приезд сравнительно большого контингента новых беглецов из России. Для большего сближения между собою, кажется, Драгомановым было внесено предложение собираться регулярно всем вместе в каком-нибудь кафе. На этих собраниях, происходивших раз в неделю, Кравчинского часто выбирали в председатели. Главными ораторами и спорщиками выступали П. Кропоткин, Драгоманов и Жуковский. Кравчинский редко брал слово,—он не владел им, говорил довольно монотонно и применял выражения, но часто делал удачные сравнения и меткие замечания.

Таким образом, очутившись против своего желания за границей, Кравчинский обречен был, в сущности, на полное политическое бездействие. Поручение, которое товарищи дали ему пред от'ездом из Петербурга, как вскоре затем он убедился, было невыполнимо по многим причинам.

В виду его роли в убийстве ген. Мезенцова, он не мог считать себя вполне безопасным даже в демократической Швейцарии, предоставлявшей право убежища всем политическим беглецам: можно было опасаться, что при энергичном требовании со стороны нашего правительства, эта маленькая республика выдаст Кравчинского, как раньше того она выдала Нечаева, в качестве лица, совершившего уголовное преступление.

Кравчинскому, поэтому, приходилось проживать под чужим именем, что, однако, мало кого могло ввести в заблуждение, так как всякий русский в Женеве знал, кто такой «Сергей» и какие за ним числятся деяния. А раз это знали все эмигранты, то, несомненно, это известно было и тайным русским агентам, каковых и в те отдаленные времена наше правительство содержало всюду за границей в более, чем достаточном количестве.

При таких условиях заниматься изучением домашним способам приготовления взрывчатых веществ было довольно рискованно, и Кравчинский, вскоре по приезде в Женеву, отказался от этого плана. К тому же, он должен был, наконец, понять, что товарищи придумали для него это занятие только затем, чтобы сплавить его за границу.

Тем не менее, он в первое время по приезде был глубоко убежден в том, что товарищи в России вскоре почувствуют необходимость в его присутствии там и призовут его обратно. Однако, недели проходили за неделями, месяцы за месяцами, а его не только не звали, но, наоборот, в каждом письме убеждали не торопиться с возвращением и вооружиться терпением, обещая сообщить ему о времени его приезда, когда это станет возможным.

— Знаешь,—сказал он мне, по поводу одного из таких писем.—Уезжая из России, я не предполагал, что они так легко обойдутся без меня. Я думал, что без меня у них многое придет в расстройство. Но я, конечно, рад, что мой преувеличенный,как оказывается, взгляд относительно моего непосредственного участия в действительности не оправдался.

Нечего и говорить, что неопределенное пребывание в эмиграции без практического дела крайне тяготило Кравчинского, несмотря на то, что в Женеве, как и всюду, куда забрасывала его судьба, он умел находить себе занятие, заполнявшее все его время. Правда, тогда у него не было той склонности к чтению, которой, по сообщению Л. Шишко, он выделялся в артиллерийском училище: сколько помню, серьезных сочинений по какому-либо вопросу он вовсе не читал, ограничиваясь лишь беллетристическими произведениями и журнальными статьями.

Томясь в изгнании, Кравчинский, как и все мы, недавно приехавшие за границу, с напряженным вниманием следил за происходившими на далекой родине событиями. Насильственные акты следовали там один за другим. Когда, наконец, мы, ближайшие его товарищи, стали задумываться на счет их смысла и значения, выражая опасение, как бы эта форма борьбы не завела наше движение в безвыходное положение, Кравчинский продолжал питать уверенность, что действующие в России товарищи обладают достаточной опытностью и благоразумием, чтобы вовремя остановиться. В особенности, помню, он возлагал большие надежды на «Тигрыча», как все мы называли тогда недавнего редактора «Московских Ведомостей», Льва Тихомирова.

— Он так умен; у него столько выдержки и уменья влиять на других, что можно быть вполне спокойным на счет пересаливаний.

Однако, дальнейшие события показали, что «Тигрыч» не только не явился сдерживающим элементом, а, наоборот, всячески—устно и печатно—поощрял продолжение и расширение актов насильственной борьбы.

За убийством харьковского губернатора кн. Кропоткина, произошедшего 9 марта 1879 г., последовало чрез пять дней покушение на шефа жандармов ген. Дрентельна, затем в Москве

был убит провокатор Рейнштейн, а 2 апреля, как известно, Соловьев покушался на жизнь Александра II.

На всех нас это покушение произвело потрясающее впечатление, так как мы считали его большим несчастьем для дальнейшей судьбы нашего освободительного движения. Нам казалось, что после него должна до чрезвычайности усилиться реакция, что затруднит деятельность среди крестьян; мы опасались также, что это покушение оттолкнет от движения более мирно настроенные элементы и лишит нас сочувствия и поддержки либеральной части общества.

Ни до, ни после этого случая я не видел Кравчинского столь возбужденным и взволнованным.

— Это крупная, непростительная ошибка!—говорил он, теребя свой вихор.

— Но как же допустил ее умный, выдержанный «Тигрыч»?— спросил я.

— Не понимаю! Будем ждать писем!

Полученные вскоре из организации письма, действительно, многое нам раз'яснили. Как известно, к весне 1879 г. ясно определились среди членов общества «Земля и Воля» два направления: «террористическое», во главе которого стоял член редакции Лев Тихомиров, и направление народническое или «деревенщиков», наиболее ярким выразителем которого оставался другой редактор газеты—Г. В. Плеханов.

В рядах самой организации «Земля и Воля» разыгралась ожесточенная полемика «за» и «против» террора, которая вскоре перенесена была и на столбцы органа.

Мы заторопились возвратиться на родину, намереваясь, с одной стороны, удержать товарищей от продолжения активных выступлений, а, с другой, по возможности, поддержать «деревенщиков», стремившихся оставаться верными народнической программе.

Чтобы тайные заграничные агенты не могли проследить нас до самой России, мы, собиравшиеся вернуться на родину, т. е. Стефанович, я, Вера Засулич и Ольга Любатович, вместе с Кравчинским, его женой и их, а также и нашим другом Анной Михайловной Эпштейн, поселились в горах в Вадском кантоне, в отдельном шалэ. Но от'езд наш затянулся на более продолжительное время, чем мы предполагали, чему причиной были Липецкий, а затем Воронежский с'езды, предпринятые для разрешения возникшего внутри общества «Земля и Воля» конфликта из-за террора, вообще, и в частности—цареубийства, в связи с борьбой за завоевание политической свободы.

Прожив несколько недель с Кравчинским под одной крышей, мы еще ближе узнали друг друга и более прежнего, если это было возможно, сошлись. Он лишь отчасти разделял намерения, с которыми мы собирались вернуться на родину. Ему, конечно, и самому страстно хотелось присоединиться к нам, но он хорошо знал, что этого пока не допустят жившие в России товарищи.

В средине лета прибыл, наконец, с таким нетерпением ожидавшийся нами Зунделевич, который, в качестве заведывавшего «иностранным департаментом», т. е. контрабандным путем, должен был нелегальным способом переправить нас через границу. Двумя парами—Стефанович с Ольгой Любатович и я с Верой Засулич,—при помощи Зунделевича, мы направились к русской границе.

Живо помню наше прощанье с Кравчинским в г. Веве, куда он, вместе с женой, поехал, чтобы проводить нас на железнодорожную станцию. Он выражал глубокую уверенность, что вскоре встретится с нами в Петербурге. Но она сбылась вскоре лишь наполовину.

IX.

После нашего возвращения в Россию, в конце лета 1879 г., произошло давно назревшее распадение общества «Земля и Воля». Тут, к слову, я должен заметить,что мы со Стефановичем далеко не играли в этом происшествии той первенствующей и отрицательной роли, какую в своих воспоминаниях нам приписывают О. Любатович и Н. Морозов; но об этом подробнее сообщу в другой раз.

Когда из расколовшегося общества «Земля и Воля» образовались, как известно, две организации—«Народная Воля» и «Черный Передел», Кравчинский примкнул в первой. Это было вполне естественно и понятно: не только его воззрения, симпатии и стремления были на стороне людей, поставивших себе главной и ближайшей целью завоевание политической свободы, но и все почти наиболее близкие, старые друзья и приятели его примкнули к «Народной Воле». А Вера Засулич, Стефанович, я и П. Б. Аксельрод, как известно, оставшиеся верными прежней программе «Земли и Воли», вошли в состав «Черного Передела», который сохранил без всяких изменений народнические воззрения.

Не долго, однако, пришлось нам держать старое знамя. Приступив к осуществлению планов, с которыми мы вернулись на родину, нам пришлось вскоре убедиться, что симпатии лучшей части общества и передовой молодежи не на нашей стороне. Господствовавшее настроение было за политическую борьбу теми способами, которые проповедовала «Народная Воля».

Убедившись в невозможности, при сложившихся тогда обстоятельствах, действовать в духе наших взглядов и считая увлечение наших противников—народовольцев лишь временным, мы согласились, в виду настояний членов «Черного Передела», вновь отправиться за границу. Таким образом, месяцев 6—7 спустя после от'езда из Швейцарии, мы опять туда вернулись.

Хотя мы с Кравчинским очутились в противоположных лагерях, но ни малейшей тени вражды или недружелюбия не было между нами: наша принадлежность к разным организациям нисколько не повлияла на личные наши отношения. Он чрезвычайно рад был нашему возвращению и, узнав причины, побудившие нас к этому, вполне одобрил наше решение.

Между тем, разгоревшаяся на родине террористическая борьба, которой, как я уже сказал, мы, «чернопередельцы», совершенно не сочувствовали, заставила нас оставаться за границей значительно дольше, чем мы предполагали. Эта вынужденная жизнь вдали от непосредственной деятельности привела к вполне неожиданным для нас последствиям.

Происходившие в то время в России чрезвычайные события вызывали изумление во всем цивилизованном мире. Между тем, как еще незадолго пред тем в западно-европейской прессе появлялись лишь изредка сообщения о приемах при Дворе да рассказы о белых медведях, будто-бы свободно разгуливающих по улицам столиц, вдруг чуть не ежедневно стали появляться в газетах длинные колонны, посвященные описаниям внутренней жизни России, политическому ее положению, а, главное—«нигилистам». Многое в этих сообщениях было плодом воображения иностранных корреспондентов, а то и просто местных журналистов. Но события, происходившие в России, были до того необычайны, что поневоле заставляли многих верить, что там решительно все возможно.

Это ложное изображение нашей родины было одной из причин, побудивших Кравчинского взяться за перо, чтобы познакомить европейскую публику с истинным положением дела в России. Но, как я уже выше сообщил, осуществить эту мысль ему удалось только зимой 1881 года.

Вследствие многочисленных арестов, предшествовавших и последовавших за актом 1 марта 1881 г., ряды партии «Народной Воли» в сильной степени поредели. Нуждаясь, поэтому, в пополнении, уцелевшие члены ее рассчитывали получить его среди эмигрантов. Кравчинский, конечно, первый выразил готовность вернуться на родину. Такое же намерение высказали Стефанович, я и некоторые другие, еще недавно совершенно не одобрявшие тактики и приемов деятельности «народовольцев».

Но происходившие в России события, в связи с изучением западно-европейских условий, а также и знакомство с учением Маркса и Энгельса, в значительной степени сблизили нас, бывших «чернопередельцев», с недавними нашими противниками, «народовольцами». С целью выяснения общих точек соприкосновения у нас завязалась переписка с исполнительным комит. «Нар. Воли», главным образом, с Л. Тихомировым, являвшимся в то время почти единственным «теоретиком» партии.

— «Приезжайте,—на месте будет виднее,—я уверен, мы устно скорее сговоримся»,—помню, заканчивал он так одно свое письмо.

По конспиративным и другим соображениям мы решили отправиться не всем одновременно, а постепенно, в одиночку, и первым уехал летом 1881 г. Стефанович.

Но и на этот раз обстоятельства сложились так, что Кравчинскому все же не пришлось скоро поехать. Тогда он решил отправиться в Италию и заняться там составлением тех «профилей», которые вскоре появились под заглавием «Подпольная Россия».

Книжка эта сразу обратила на себя внимание самых выдающихся итальянских писателей. О ней появилось много статей и заметок, она быстро приобрела большую известность и, спустя короткое время, была переведена и на некоторые другие европейские языки.

Для западно-европейской публики «Подпольная Россия» явилась своего рода откровением. До появления этой книжки русские «нигилисты» представлялись ей страшными заговорщиками, приносившими на кинжалах, револьверах и динамите клятвы в преданности, верности и повиновении главарям своих тайных организаций и затем совершавшими по жребию или по приказу своих руководителей ужаснейшие преступления; словом, в воображении европейцев русской революционер являлся аналогичным карбонарию, а то и члену каморры или маффии.

Легко поэтому представить себе их изумление, когда из очерков Кравчинского, принявшего впервые псевдоним «Степняк», они убедились, что «нигилисты» не имеют ничего общего со страшными заговорщиками. Вместо последних, пред европейскими читателями предстали интеллигентные юноши и молодые девушки, хотя и «несколько увлекающиеся», но несомненно честные, бескорыстно отдающиеся тому, что они считают справедливым. И самый скептический читатель, самый строгий критик чувствовал, что изображение автора проникнуто глубокой правдой и искренностью. Читая наброшенные Степняком «профили» русских революционеров, европеец видел, что автор изобразил их такими, каковы они в действительности. И за Степняком

быстро установилась на Западе репутация талантливого писателя, обладающего большой наблюдательностью, искренностью и чутьем.

Действительно, никто из нас, современников и товарищей Степняка, знавших обрисованных им в «Подпольной России» лиц, не может сказать, что данные автором характеристики их неправильны, что он приписал не присущие им черты и умолчал о сколько-нибудь крупных их недостатках и пр. Наоборот, каждый из нас должен признать, что Степняку удалось в небольших очерках дать удивительно верные и меткие образы и что выведенные им лица выступают как живые.

Нам и до появления «Подпольной России» было известно, что Кравчинскому в большой степени присуща способность быстро и вместе вполне верно распознавать как положительные, так и отрицательные черты каждого нового лица. При первой встрече он, обыкновенно, сам очень мало говорил. Сидя с опущенной вниз головой и изредка лишь вставляя отдельные фразы, он время от времени устремлял на нового знакомого долгий, испытующий взгляд, как бы желая этим проникнуть глубоко внутрь своего собеседника и сразу насквозь узнать его. А затем, в большинстве случаев, он давал почти полную и безошибочную характеристику нового знакомого. При этом, конечно, по присущему Кравчинскому добродушию и снисходительности к ближнему, он, останавливался преимущественно только на положительных его чертах.

Но не правы были бы те, которые на этом основании стали бы утверждать, будто выведенные Степняком в «Подпольной России» лица изображены им односторонне. В действительности, на ряду с положительными чертами им указаны и имевшиеся у них слабости, подтверждением чему может отчасти служить такой факт.

Вскоре после выхода этой книжки на итальянском языке я был свидетелем, как одно из выведенных в ней лиц, которое, по мнению многих, Степняк изобразил в самом розовом свете, выразило ему неудовольствие за данную ему характеристику,— не потому, что она была не верна, а потому, что автор был чересчур откровенен.

— Так о живых людях нельзя писать,—заявило это лицо.

Выслушав это замечание, Кравчинский рассмеялся своим обычным добродушным смехом и, обратившись ко мне, сказал:

— Видишь, Н. не доволен тем, что я вывел его перед публикой в костюме Адама. Он, пожалуй, прав, но я иначе не мог.

При присущей Степняку способности к идеализации и восторженности, он, однако, понимал, что односторонние характеристики не соответствуют действительности, а, следовательно, не

правдивы. Некоторых ввел в заблуждение тон, взятый автором «Подпольной России». То же самое, те же черты и свойства выведенных Степняком лиц, передай он другим тоном,—несомненно никто не нашел бы в данных им характеристиках никаких неточностей или преувеличений. Когда мы, товарищи Кравчинского, указывали ему на преувеличенно возвышенный, приподнятый тон, которым он говорит о выведенных им лицах, он обыкновенно отвечал следующее:

— Современники почти всегда являются плохими ценителями выдающихся людей их эпохи. Припомните, как знаменитая m-me Ролан жаловалась в своих записках, написанных во время Великой революции, на отсутствие между ее современниками крупных людей. А теперь эти Робеспьеры, Дантоны, Сен-Жюсты кажутся нам гигантами. Вот также и вам всем кажутся обыкновенными людьми те, которые, по моему, являются очень крупными. Чтобы видеть действительные их размеры, нужно мысленно перенестись в будущее.

И Степняк был убежден, что он изображает выдающихся людей своей эпохи такими, какими они выступят в истории. Относительно многих лиц он, действительно, оказался правым.

X.

Значительный успех «Подпольной России» имел большое влияние на дальнейшую судьбу Кравчинского.

Как я выше упомянул, он вместе со мною собирался, вслед за Стефановичем, вернуться в Россию: задержка произошла лишь из-за неполучения из России от товарищей всего необходимого для от'езда. Но вот, в конце января 1882 г., мною получены были деньги, паспорта и адресы. Я тотчас же сообщил об этом Кравчинскому, находившемуся в Милане, где он поглощен был новым дополненным изданием своей книжки, а потому ответил мне, что в данное время отказывается от поездки, — о чем просил меня уведомить русских товарищей.

«Приди все это на три-четыре месяца раньше,—писал он,—я, не задумываясь ни на минуту, вернулся бы в Россию; а теперь я обязан довести раз начатое дело до конца».

Таким образом, когда, наконец, сбылось страстное его желание,—осуществления которого он с неимоверным нетерпением ждал целых четыре года,—когда его товарищи сами звали его вернуться на родину, он отказался воспользоваться им и затем при мне уже более не собирался в Россию.

В этом стечении обстоятельств, помешавших Кравчинскому отправиться на родину, судьба как бы вновь проявила к нему

свое покровительство: вслед за его отказом пришло из Москвы, куда он должен был поехать, известие об арестах почти всех бывших там народовольцев, и он несомненно также попал бы в руки властей.

Пробыв года полтора в Италии, Кравчинский весной 1883 г. возвратился в Швейцарию. После двухлетней почти разлуки мы встретились у изголовья умиравшего от чахотки Александра Хотинского, о котором я сообщал выше. В течение нескольких дней и ночей Сергей почти не отходил от его постели и на мое предложение сменить его согласился лишь тогда, когда началась уже предсмертная агония. У открытой могилы он же затем произнес очень прочувственное слово об умершем старом «землевольце».

То была особенно богатая похоронами близких товарищей весна: вслед за смертью Хотинского покончила с собою незадолго пред тем приехавшая за границу София Бардина. Если мы вспомним, как Кравчинский высоко ценил ее, еще до личного знакомства, а затем, встретившись в Женеве, быстро подружился с нею, то легко представим себе, каким тяжелым ударом явилась для него,—как, впрочем, и для всех нас,—трагическая смерть этой выдающейся молодой женщины.

Затем весной же 1883 г. эмигрировал в Женеву бывший чайковец Андрей Франжоли с женой, Евгенией, урожденной Завадской. Многое пришлось вынести этому человеку в течение продолжительного тюремного заключения до суда по Большому процессу, а потом в неприглядных условиях административной ссылки. Результатом тяжелой его жизни оказались у него всевозможные болезни—туберкулез, порок сердца и пр., у него к тому же были переломлены обе руки и одна нога, и в двадцать с чем-то лет Франжоли представлял собою изувеченный труп.

Кравчинский ухаживал за этим несчастным своим товарищем так же усердно, как и за Хотинским. При этом с ним произошел такой поразивший всех нас случай.

Приглашенный на квартиру Франжоли хирург предложил Кравчинскому, приподняв больного, подержать его, пока он его осмотрит. Но вскоре врач заметил, что тело пациента страшным образом шатается. Бросив взгляд на державшего его здоровенного господина, он с изумлением воскликнул:

— Э, да вы сами нуждаетесь в медицинской помощи!

И, опустив на кровать Франжоли, профессор занялся Кравчинским, находившимся почти в обмороке: вид изможденного тела больного товарища привел его в это состояние.

— Такой силач, атлет, а падает в обморок!—воскликнул хирург в крайнем изумлении.

Между тем, мы все до этого случая считали Сергея человеком, обладающим сильными нервами. Некоторые из нас утверждали даже, будто «у него вовсе нет нервов». И, будучи столь чувствительным к страданиям товарища, Кравчинский, как мы уже знаем, с полным самообладанием смог совершить насильственный акт над Мезенцовым...

Возвратимся, однако, к Андрею Франжоли.

Проболев короткое время, он скончался в полном сознании. В то же утро оставшаяся одна в комнате с умершим мужем Евгения Завадская, полная сил и цветущего здоровья, приняла яд, после чего тут же рядом с мужем скончалась. А на столике вблизи постели оказалась записка, в которой покончившая с собою сообщала, что решается на самоубийство с ведома и согласия Франжоли...

Кравчинского, как и всех нас, крайне удивило и огорчило столь ненормальное отношение умершего к любимой им жене, самоубийству которой он мог-бы легко помешать, предупреди он о ее намерении кого-нибудь из товарищей.

XI.

Не одними похоронами было богато лето 1883 г., — оно, вообще, изобиловало всякого рода событиями.

Еще зимою 1881 г. организация «Народная Воля» задумала основать за-границей толстый журнал, но, вследствие постоянных арестов, осуществление этого плана откладывалось с месяца на месяц. Только летом 1883 г. явилась материальная возможность приступить к его изданию.

При самом возникновении этого плана находившиеся в России народовольцы наметили Кравчинского, на ряду с П. Л. Лавровым и Г. В. Плехановым, в число редакторов журнала, которому они дали название «Вестник Народной Воли». Но, когда наступило время выпуска первого номера, среди остальных участников этого предприятия возникло серьезное затруднение относительно Кравчинского в качестве редактора.

Дело в том, что проф. Драгоманов все более и более резко, несправедливо и оскорбительно стал нападать на партию «Народная Воля» в редактированном им, вместе с провокатором Мальчинским, органе «Вольное Слово», который, как теперь установлено, издавался на средства «Священной Дружины».

Он обвинял «Народную Волю» в своих статьях, печатавшихся также и на иностранных языках, во всевозможных прегрешениях и преступлениях. Даже мы, бывшие «чернопередельцы», не разделявшие всех воззрений народовольцев, тем не менее, сочли себя обязанными выступить публично с протестом против обвинений, возводимых Драгомановым на людей, действовавших в России, попадавших там ежедневно в тюрьмы, на каторгу и виселицу, следовательно, лишенных возможности опровергнуть его. А Кравчинский, вследствие присущей ему терпимости, снисходительности и всепрощения, не только отказался присоединить свою подпись к нашему открытому протесту, но ничем решительно не изменил своих отношений к Драгоманову. Очутившиеся за границей Тихомиров и жена его, а также Оловенникова и др. народовольцы сочли, после этого, невозможным признавать Кравчинского редактором нового журнала, пока он не порвет своих приятельских отношений с Драгомановым. Для пред'явления ему этого ультиматума созвано было на квартире Г. В. Плеханова в Женеве тесное собрание тогда намеченных ближайших сотрудников, на котором, кроме Тихомирова и Кравчинского, присутствовали Плеханов с женой, Вера Засулич и я.

Тихомиров в самой корректной форме заявил Кравчинскому от нашего имени, а также и от находившихся в то время в Париже ближайших участников «Вестника Нар. Воли»,—П. Лаврова, М. Оловенниковой и др.,—что он может войти в состав редакции только при условии, если порвет свои отношения с Драгомановым, являющимся открытым и злостным врагом всего русского революционного движения. Г. В. Плеханов, а отчасти мы, остальные, поддержав официальное заявление Тихомирова, всячески убеждали Сергея выйти из двусмысленного положения, в котором, в глазах многих, он находится, благодаря своей дружбе с общим нашим недругом, что это положение компрометирует его и пр.

Молча, по обыкновению, с понуренной головой, выслушав наши доводы, Кравчинский столь взволнованным голосом, какого до того ни я, ни кто другой из нас никогда не слыхал у него, заявил, что он вполне понимает и признает все наши соображения, но не в силах исполнить наше требование.

— Нет , я не могу об'явить Драгоманову о разрыве наших с ним отношений,—говорил он.—Вы не знаете, в каком он тяжелом моральном состоянии! Ведь решительно все русские разошлись с ним. Мой разрыв с ним был бы для него страшным ударом. Я не могу нанести его человеку, которого люблю и уважаю, хотя мне тяжело и со всеми вами расставаться. Но вам моя

дружба не так нужна, как ему. Вы понимаете, он удивительный человек! У него только крайне озлобленное настроение.

Много еще в этом же духе говорил Сергей, а мы, сидевшие с ним вокруг стола, слушали его с напряженным вниманием, не сводя глаз с его взволнованного лица. Интонация его голоса, его слова и выражения производили на всех нас сильнейшее впечатление,—словно мы присутствовали при сообщении о чрезвычайно трагическом происшествии. А когда он окончил свою возбужденную речь, ни у кого из нас не хватило решимости повторить ему о разрыве, как мы то намеревались сделать, в случае его отказа. Пожав друг другу руки, мы, грустные, разошлись по домам.

* * *

Кравчинский и на этот раз остался верен своему мягкому характеру: он не порвал с приятелем, которого, хотя и считал неправым во многом, не мог покинуть в виду одинокого его положения. Он не вошел и в состав редакции «Вестника Народной Воли».

Наше негодование на его дружбу с Драгомановым быстро исчезло. По этому поводу мы иронизировали, отпускали шутки, а Г. В. Плеханов сочинил даже пародию на лермонтовского «Демона», в каковой Кравчинский фигурировал в роли Тамары, соблазненной демоном—Драгомановым. Сергей много хохотал своим добродушным смехом, выслушав это стихотворение. За ним надолго в нашей тесной среде удержалась кличка «Тамара»; ее же мы употребляли в конспиративных письмах с Россией и Сибирью, когда я там потом очутился.

XII.

Вскоре после только что описанного совещания обстоятельства сложились так, что мы все, бывшие чернопередельцы, собиравшиеся сообща с народовольцами и П. Лавровым издавать журнал, вынуждены были отказаться от этого намерения. А затем, как известно, мы выступили в качестве самостоятельной социал-демократической группы, принявшей название «Освобождение труда». Будучи одним из ее организаторов, я лично попытался привлечь и Кравчинского, хотя заранее сомневался в успехе.

Когда, встретившись с ним, я сообщил ему о нашем решении и, изложив причины отдельного нашего выступления, спросил об этом его мнение, он, покачав головой, сказал:

— Едва-ли что выйдет из вашей затеи. — Потом, помолчав немного, прибавил: — Ну, да вы ничего не теряете; попробуйте.

Когда же я спросил, не согласится-ли и он заодно с нами «попробовать», он ответил:

— Нет, уж лучше я останусь «ни в тех, ни в сех»,—вольным казаком.

И Кравчинский был, в сущности, единственным из всех эмигрантов, который не только не враждебно, а, скорее, даже доброжелательно отнесся к поставленным себе членами группы «Освобождение труда» задачам. До самой своей смерти он сохранил приятельские отношения со всеми нами.

Он в то время, т. е. все в то же лето 1883 г., целиком ушел в свои литературные работы на иностранных языках по ознакомлению западно-европейской публики с внутренним положением России. Успех, который имела его первая книжка, указал ему совершенно новую для него сферу деятельности, и он взялся за нее с присущей ему энергией и настойчивостью.

Товарищи убедили его переехать в Лондон, где он вскоре занял очень крупное положение в литературных, а отчасти и в политических сферах Англии. Он много писал о России в местных журналах, а затем выпустил несколько книг по английски [1]). Силы его росли и развивались. Он не старел с годами. Наоборот, открывались все новые дарования; он написал по английски также художественное произведение—роман «Андрей Кожухов», имевший огромный успех. Сообща с некоторыми русскими эмигрантами, ему удалось основать «Общество друзей русской свободы», в состав которого вошли многие видные английские политические деятели. Он становился все более крупным и популярным человеком в Англии.

Читая, во время пребывания в карийской каторжной тюрьме, в получаемых мною от близких мне лиц конспиративных письмах, что «сестра Тамара приобретает все больший и больший успех», я надеялся, что Кравчинский дождется момента, когда сможет свободно вернуться на горячо любимую им родину, и никто из знавших Кравчинского не сомневался в том, что ему предстояла большая будущность.

Из года в год я получал все более отрадные сообщения о «Тамаре». Так длилось целых двенадцать лет. Но, однажды, если память мне не изменяет,—летом 1897 г., когда я нахо-

---

[1]) «Русские грозовые тучи», «Русское крестьянство», «Россия и царствование Императора Александра III» и др.

дился в так называемой «вольной команде», мною получено было письмо, в котором Як. Стефанович, находившийся на поселении в Якутской области, спрашивал: «Дошло ли до тебя ужасное известие, что Сергей был раздавлен поездом, когда он в раздумьи переходил рельсы вблизи своего дома?».

Легко, полагаю, себе представить, как поразило меня это сообщение... «Вот и блестящая будущность!... Вот долгая жизнь впереди «баловня судьбы»!—думал я с тоской, не находя себе места...

Как потом я узнал, Кравчинский погиб задолго до полученного мною известия об этом трагическом событии: раздавил его поезд 11 (23) декабря 1895 г. при следующих обстоятельствах.

Приехавший в Лондон известный тогда русский адвокат Куперник обратился к «Фонду Вольной Русской Прессы», который уже раньше того издал его брошюру «Русская Конституция», с предложением, при его материальной и литературной поддержке, издавать там газету под заглавием «Земский Собор». Орган этот должен был выходить под редакцией С. Кравчинского, имевшего составить и программу этой газеты.

На второе совещание, которое должно было состояться в квартире покойного Ф. Волховского, Сергей долго не являлся. Затем до собравшихся дошла тяжелая весть об ужасной кончине Кравчинского. Задуманный Куперником орган поэтому уже не появлялся.

* * *

Пять дней спустя население Лондона проявило к памяти умершего русского изгнанника такое горячее внимание, какого, по отзывам местной прессы, давно не видала столица Великобритании: на его похороны собрались многочисленные представители самых разнообразных слоев английского общества; преобладали рабочие. Произнесено было много прекрасных речей, между которыми можно указать на теплое прощальное слово Джона Бернса, тогда рабочего депутата, а затем члена министерства. В немногих словах он метко обрисовал Кравчинского.

«Я знал Степняка,—сказал он,—за доброго друга угнетенных всех национальностей... Он соединял в себе сердце льва и добродушие ребенка. Это был великодушный человек и крупная личность в революционном движении Европы».

* * *

Минуло еще двенадцать лет, принесших много перемен России. Весной 1907 г., во время сессии второй Государственной Думы, в Лондоне, как известно, состоялся с'езд трехсот пятидесяти представителей рос. соц.-дем. раб. партии. Я был в их числе. Меня и еще нескольких товарищей однажды пригласил в себе довольно видный и зажиточный старый англичанин, художник м-р Мошелес.

У него собралось много знаменитостей, среди которых были М. Горький, Г. В. Плеханов, Ленин, Церетели и др. С гордостью показывая нам висевшие по стенам портреты замечательных людей, гостеприимный хозяин, между прочим, заявил: «Вот мой друг, итальянский борец за свободу, а вот и ваш соотечественник: это портреты моей работы».

То были Гарибальди и Степняк: старый англичанин, как и мы в юности, невольно сопоставил эти две фигуры, между которыми, действительно, было много общего.

Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк).

Статья В. И. Засулич.

28-го декабря 1895 г. громадная толпа жителей Лондона собралась на площади перед вокзалом, чтобы проводить останки умершего русского изгнанника-революционера, Сергея Михайловича Кравчинского, писавшего под именем Степняка. По отзывам английской прессы, такого широкого и торжественного выражения общественного сочувствия давно не видал Лондон.

— Я знал Степняка и в течение нескольких лет пользовался его дружбой и добрыми советами,—говорил в своей прощальной речи член английского парламента, рабочий социалист Джон Бернс.—Я знал его за доброго верного друга угнетенных всех национальностей... Он соединил в себе сердце льва и добродушие ребенка. Это был великодушный человек и крупная личность в революционном движении Европы. И вот, чтобы засвидетельствовать это перед целым светом, мы сошлись здесь, в самом сердце Лондона, где свободно пользуемся тем, чего так страстно добиваются и за что борются все русские, подобные Степняку...

«Великодушный человек»... «Сердце льва и добродушие ребенка»... Бернс указал действительно характерные черты погибшего изгнанника.

Джону Бернсу, как и всем своим многочисленным заграничным знакомым и читателям последнего десятилетия, покойный был известен под именем Степняка. Но в революционной, «подпольной России» семидесятых годов одним из самых популярных, самых любимых имен было имя Сергея Кравчинского. Оно тесно срослось с самыми первыми шагами революционного движения.

Кравчинский как будто лишь вместе с этим движением появился на свет божий. О его детстве почти ничего неизвестно самым близким ему людям. Он о нем никогда не рассказывал. Где родился—он, кажется, и сам не знал. Отец был военным доктором и, следуя за полком, семья часто переезжала с места на

место. Учился он в орловском кадетском корпусе, затем в петербургском артиллерийском училище; был произведен в офицеры, но скоро вышел в отставку и поступил студентом в Лесной институт.

В начале семидесятых годов, незабвенных для каждого, кто принимал тогда участие в движении, Кравчинскому было около двадцати лет. Он участвовал в самых первых шагах образовавшегося в Петербурге в 1872 г. кружка молодежи, ставшего потом известным под именем кружка «чайковцев», и был одним из самых деятельных и несомненно самым талантливым его членом.

Занявшись сперва распространением хороших легальных книг среди учащейся молодежи, кружок скоро перешел к пропаганде среди рабочих, и Кравчинский читал им популярные лекции за Невской заставой.

В 1873—74 г.г. кружок чайковцев, а за ним и вся захваченная движением интеллигентная молодежь принимается за пропаганду среди крестьян, и одним из первых отправляется «в народ» Кравчинский. Чтобы иметь предлог для своего появления в деревне и не возбудить подозрительности крестьян, пропагандисты считали нужным знать деревенские работы или какое-нибудь обычное в деревне ремесло. Для большинства интеллигентов, не привычных ни к какому ручному труду, это представляло почти непреодолимые трудности. Сергей Кравчинский, кроме железного здоровья и большой физической силы, отличался еще необыкновенной способностью ко всякому ручному труду. Он как то сразу выучивался всему, за что брался, и при этом очень любил физическую работу. Это пристрастие осталось у него на всю жизнь. Даже здесь, в Лондоне, завалённый литературной работой, он сам прокладывал газовые трубы в своей квартире, делал мебель, красил полы, двери и проч. Благодаря этой способности, Кравчинский был один из немногих пропагандистов, ничуть не отстававших в работе от настоящих рабочих.

Еще недавно, незадолго до смерти, вспоминая об этом времени, Сергей с оживлением, с видимым удовольствием уверял, что «был, право же, хорошим рабочим. Все хвалили. Работал лучше самого Рогачева (разгибавшего подковы силача-товарища, с которым он вместе ходил «в народ»). Тот, конечно, был сильнее, сразу больше поднимет, но не так вынослив. К вечеру бывало совсем раскиснет, а я ничего».

Одно время он жил у молокан, расспрашивал их об их вере и рассказывал им о «своей». Ему не раз случалось вспоминать о том голоде, который он там добровольно переносил. Молокане

часто постятся, и пост у них заключается в том, чтобы ничего не есть по целым суткам, при чем работа продолжается как обыкновенно. «Можно-бы, конечно, на стороне достать чего-нибудь поесть: никто бы не заметил,—рассказывал он,—но по моему это было бы бессовестно».

Во все, за что ни брался Сергей, он всегда вкладывал всю свою душу и все делал «по совести».

Для той же пропаганды Кравчинский написал и свои первые литературные произведения: «Мудрицу Наумовну» и «Сказку о копейке», в которых поэтически изложил свои социалистические идеи. Странные это вышли сказки. Через 3—4 года их автор делал уже самые презрительные гримасы, когда ему упоминали о них. Но в отместку заставлял свою близкую приятельницу Эпштейн [1]), любившую дразнить его этими сказками, немедленно сознаться, что как они ни были плохи, а все же многие, и она в том числе, проливала над ними слезы. И в самом деле, хотя в этих юношеских произведениях автор не успел еще справиться ни с собственной фантазией, ни с идеями, ни со способом их изложения, он все же выразил что то, соответствовавшее восторженному настроению части его товарищей и способное, при первом чтении, вызвать слезы у наиболее впечатлительных женщин.

Полный жизни, которою заражал всех окружающих—художник по складу ума, идеализировавший, преувеличивавший хорошие качества своих приятелей и безмерно восхищавшийся ими, в то же время искренний, простой и ласковый, как ребенок, в своих личных сношениях с людьми, Кравчинский был общим любимцем и гордостью товарищей.

Не мудрено, что когда начались аресты, всем хотелось отправить заграницу именно его. Но в то время осесться в Европе он еще не мог. Воинственные стороны его натуры, жажда практической революционной деятельности брали в нем слишком сильный перевес над задатками литературного таланта. Удержать его подольше вдали от родины могла только перспектива вооруженной борьбы за симпатичную ему цель. Участие в такой борьбе кроме своей непосредственной привлекательности давало также возможность приобрести военную опытность, которая, по его убеждению, могла пригодиться на службе будущей русской народной революции.

---

[1]) Анна Михайловна Эпштейн, когда-то деятельный член того же кружка «чайковцев», ведшая в течение многих лет контрабандную переправу людей и книг через русскую границу, умерла от болезни в Вене в ноябре того же 1895 года.

Так, он участвовал в Герцеговинском восстании, предшествовавшем русско-турецкой войне, и ему, как бывшему артиллеристу, была там поручена батарея.

В 1876 г. он был в Петербурге, где движение казалось сравнительно затихшим. Вновь образовавшаяся организация, прославившаяся впоследствии под именем «Земли и Воли», еще не успела тогда приобрести преобладающего влияния, а остатки чайковцев были заняты, главным образом, помощью многочисленным заключенным в тюрьмах пропагандистам. Наиболее живым делом представлялось устройство побегов из тюрем; в нем Кравчинский и принял деятельное участие.

Начало 1877 г. снова застает его заграницей, в Италии, куда он взялся сопровождать одну больную приятельницу. Здесь он сошелся с группой итальянской молодежи, воспитавшейся под влиянием Бакунина и походившей во многом на русских революционеров того времени. Вместе со своими итальянскими приятелями он составил план вооруженного восстания, написал для них статью о приемах партизанской войны и вместе с ними отправился в итальянскую провинцию Беневенто, где решено было начать восстание в надежде, что к нему присоединится местное население. Эта надежда, однако, не оправдалась, и приезжие революционеры были почти тотчас же арестованы. Вместе с другими, Кравчинский просидел 10 месяцев в итальянской тюрьме, из которой был освобожден в январе 1878 г. в силу амнистии, последовавшей за смертию короля Виктора Эммануила.

Переселившись в Женеву, он тотчас же принял самое деятельное участие в журнале «Община», а затем с первыми номерами этого журнала и с предложением издавать подобный орган в самой России он появился в последний раз на «жгучей мостовой Петербурга», как назвал он ее в каком то из своих произведений.

Это было в мае 1878 г. Кравчинский приехал в самом радостном настроении и с твердым намерением ни за что на свете не покидать русской борьбы «до конца».—«То есть до ареста», замечали ему приятели, которым он заявлял о своем решении.—«Нет, до победы»! возражал он с самой искренней уверенностью.

То, что застал он в Петербурге, могло,—в особенности, при его складе ума,—лишь усилить до последних пределов его уверенность в близкой победе. По сравнению с чайковцами, революционеры представляли теперь действительно значительную силу, отличаясь от них и во многих других отношениях.

Мы говорили о способности Кравчинского к идеализации. Но мы вовсе не хотим этим сказать, чтобы он видел в восхищавших его людях совсем не существовавшие в них качества. Он обла-

дал, наоборот, своеобразным, но чрезвычайно тонким и быстрым чутьем, указывавшим ему верные черты, которые он затем лишь освещал таким ярким светом своего художественного восхищения, что они являлись преображенными и отчасти преувеличенными. Он был убежден при этом, что он то именно и видит своих современников в том настоящем свете, в каком они появятся в истории, а от других самая близость людей и событий скрывает их настоящие размеры. В разговорах с самыми скептическими приятелями он не раз ссылался на мемуары одной из женщин Французской революции, жаловавшейся, что между ее современниками нет крупных людей, соответствующих громадности совершающихся событий. «А, ведь, теперь, прибавлял он, при свете истории, современники госпожи Ролан кажутся нам гигантами». В письмах близким приятелям за-границу, сообщая впечатления первого знакомства с новыми для него в большинстве людьми, стоявшими теперь во главе русского движения, он проводил параллель между ними и его прежними товарищами, чайковцами.

Его новые знакомые кажутся ему суше, уже одностороннее чайковцев, но за то же они и крепче их, насколько закаленная сталь крепче тонкого фарфора. По преданности делу они никому не уступят, а по упорству в достижении намеченных целей, по практичности, опытности они настолько же превосходят чайковцев, как взрослые люди детей.

Параллель была в общих чертах несомненно верна. Но главную силу этих крепких и практичных людей, в большинстве случаев нелегальных, т. е. скомпрометированных в прежних делах и живших под фальшивыми паспортами, составляло то обстоятельство, что, среди общего брожения молодежи, не менее сильного, чем во времена чайковцев, они образовали из себя прекрасно организованный тайный центр, приобревший над этой молодежью почти безграничное влияние. Организация имела также связи и пользовалась хорошей репутацией среди некоторой части рабочих Петербурга, с одной стороны, и в либеральном обществе—с другой.

Рассылая своих членов по провинциям, она стремилась подчинить своему влиянию все рассыпанные по России революционные кружки и успевала в этом. Она имела правильно действующую тайную типографию, беспрестанно дававшую знать о себе какой-нибудь брошюркой, листком, прокламацией, и теперь приступившую к изданию газеты «Земля и Воля». Это название, перешедшее на всю организацию и приобревшее такую громкую известность, было предложено Кравчинским.

Положение, занятое организацией, могло действительно производить впечатление значительной силы даже на человека более

скептического, чем был тогда Кравчинский. Революционная партия достигла теперь всей той, правда, хрупкой, призрачной,—как показали последствия—силы, какой только могла достигнуть партия, опиравшаяся по необходимости почти исключительно на интеллигентную молодежь и имевшая возможность рассчитывать на рабочих, лишь как на второстепенный вспомогательный отряд.

Время последнего пребывания в России едва ли не было также самым сильным, ярким, самым богатым впечатлениями временем в жизни самого Кравчинского.

Его статьи этого года в «Общине», а затем в «Земле и Воле» совсем не похожи на обыкновенные газетные статьи. Это—«стихотворения в прозе», поэзия, настоящая, сильная поэзия революции. За три года, прошедших с тех пор, как он писал свои сказки, Кравчинский сделал громадные успехи: формою он владел теперь прекрасно. От этих статей никто не мог бы, конечно, расплакаться. Не слезы вызывали они: это были клики торжества, предвкушение победы. При малейшей неискренности статьи в таком поднятом тоне неизбежно производят неприятное впечатление фразерства. Но в том то и была сила Кравчинского, что этот тон был в тот момент его естественным тоном, что его вера в близкое торжество партии была вполне искренняя и производила, поэтому, бодрое, хорошее впечатление.

Поэт и вместе воин, рыцарь по натуре, Кравчинский жил в это время всеми фибрами своей души, всеми сторонами своего существа. Среди революционеров в это время все более и более зрела мысль о том способе борьбы, который стал впоследствии известен под именем «террористического», о вооруженных нападениях на наиболее вредных и жестоких слуг деспотизма. Первое такое дело, предпринятое организацией,—против Мезенцева, шефа жандармов и, следовательно, главного преследователя революционеров—было поручено Кравчинскому.

Блистательно выполнив его среди бела дня на людной улице Петербурга и избежав немедленных преследований, он продолжал жить в том же городе, как ни в чем не бывало. Теперь дело шло о его голове. Приближенные Мезенцева открыли даже общественную подписку в пользу предателя, который выдаст, или шпиона, который выследит убийцу. Ни доноса, ни специального выслеживания бояться было нечего, от этого вполне охраняла организация, но она не могла охранить от случайного ареста, от последствий собственной неосторожности, а особенной осторожностью Кравчинский никогда не отличался. Опять явилось у всех сильнейшее желание выпроводить его из России. На этот раз говорило не одно личное, а также и общественное чувство. За последнее

время все удавалось революционерам и ничего не удавалось полиции: их тайная организация в этот момент была, очевидно, лучше жандармской. Никто из прогремевших за последнее время людей не был арестован. Действовавшая более года типография, несмотря на большие суммы, назначенные за ее поимку, была цела, и на «Землю и Волю», почти открыто продававшуюся в Петербурге, была даже об'явлена подписка «в местах и через лиц, публике известных». И это не было пустым хвастовством. Благодаря организации, каждый из «публики», имевший сколько-нибудь значительный круг знакомых, мог действительно добраться до лиц, имевших отношение к «Земле и Воле», но ни в каком случае, ни умышленно, ни по неосторожности не мог никого выдать... При таких условиях арест, казнь такого видного человека, как Кравчинский, была бы слишком большой удачей для правительства, подкосила бы радостную гордость партии. Всем хотелось успокоиться на этот счет. Но уговорить Кравчинского уехать добровольно в такой момент было немыслимо. Прошло несколько месяцев, пока для него придумали, наконец, поручение за-границу, повидимому, очень важное, и выполнить которое всего лучше мог именно он. Кравчинский поехал в полной уверенности вернуться к выходу следующего номера «Земли и Воли», недели через три, через месяц самое большое... и уже не вернулся.

Раз он оказался в Швейцарии, друзья сумели создать ему тысячу препятствий для возвращения, обещая позвать его, когда условия будут благоприятны. Он ждал. Условия не улучшались, а становились, наоборот, все труднее.

Раз, впрочем, уже в царствование Александра III, когда большие потери, понесенные организацией «Народной Воли»,—заменившей «Землю и Волю»,—сделали очень важным для нее присутствие такого «старого» революционера, как Кравчинский, его позвали, обещая прислать все необходимое для возвращения. Он ответил радостным согласием; но пока он ждал обещанного, в России последовала новая катастрофа, разбившая остатки старой организации и всякую надежду для Сергея скоро увидать родину.

Потянулись долгие, серые годы изгнания. Он употребил их на упорный, непрерывный литературный труд. В числе его многих выдающихся способностей была необыкновенная способность к языкам. Познакомившись с итальянским языком еще в тюрьме, он теперь написал на нем самое известное из своих произведений «Подпольная Россия»—ряд характеристик выдающихся революционеров, а также некоторых сторон их деятельности, переведенное почти на все европейские языки.

Он изучил потом английский язык и с 1884 г., переселившись в Лондон, начал писать почти исключительно по английски. В целом ряде книг [1]) публицистического характера он старался ознакомить английскую публику с различными сторонами политической и общественной жизни России. Много упорного, добросовестного труда вкладывал он в эти книги, но не увлекался, не удовлетворялся ими: он в сущности насиловал для них свой талант, который тянул его в другую сторону. Эта работа казалась ему обязательной в виду поставленной им себе задачи: создать в общественном мнении Англии течение, враждебное русскому деспотизму и сочувственное русскому освободительному движению. Для этого же он читал лекции о России и писал статьи в газеты. И его усилия далеко не пропали даром. В бесчисленных статьях о Степняке, наполнявших английские газеты, в течение 10—15 дней после его смерти, не раз было указано на то, что своей деятельностью он повлиял на мнение о России некоторой части английского общества. Успешности его усилий содействовали также многочисленные знакомства, дружеские связи, приобретенные им в различных слоях лондонского населения. Под влиянием дошедших из Сибири ужасных известий об избиении ссыльных в Якутске, о казни неоправившихся от ран жертв этого избиения и о наказании розгами политической заключенной на Каре, Сигиды, Кравчинскому даже удалось в 1890 г. образовать из англичан небольшое общество «Друзей русской свободы», издающее до сих пор газету, посвященную русским делам. Он писал также небольшие брошюры и предисловия для русского «Фонда Вольной Прессы в Лондоне».

Вся эта обязательная работа мешала ему сосредоточиться на той литературной деятельности, которая доставляла ему наслаждение и где, наверное, он мог бы достичь очень многого.

По крайней мере, его первое и единственное крупное произведение этого рода, роман из жизни русских революционеров, русский перевод которого издается теперь его вдовой под заглавием «Андрей Кожухов», является несомненно самым значительным его произведением. Это в сущности единственное во всей русской литературе художественное воспроизведение жизни русских революционеров, сделанное человеком, знавшим эту жизнь. Действие романа схватывает именно тот момент революционной борьбы, который Кравчинский так ярко пережил вовремя своей последней поездки в Россию.

[1]) «Россия под царями». «Русские грозовые тучи», «Русское крестьянство» и, наконец, последняя, недавно вышедшая книга, начатая автором тотчас после смерти Александра III, изображающая бедствия, причиненные России этим царствованием.

Хотя в каждой строчке романа чувствуется горячая нежность автора к его героям, но тех слишком сгущенных красок, того восторженного лиризма, который замечался в его юношеских произведениях, здесь уже нет. И люди, и события являются в этом романе в их настоящем свете и размерах. Это хорошее произведение, хотя ему и пришлось писать его в самых трудных условиях: на чужом языке, воображая перед собою чужих читателей, все привычки которых так резко отличаются от русских.

После этого романа ему удалось издать лишь небольшой рассказ, да осталась неизданной одна драма. Но планов относительно этого рода произведений у него было множество. Он все мечтал выгадать как-нибудь промежуток времени, свободный от всяких текущих обязанностей, чтобы целиком посвятить его художественному творчеству.

Хотя его жизнь была полна деятельности, хотя он достиг многого, тем не менее он еще не исчерпал, не развил до конца всех способностей, лежавших в его богато одаренной натуре, когда по ужасной случайности был убит, переходя полотно железной дороги, наскочившим поездом [1]).

* * *

Мы отлично знаем, что этот краткий перечень событий его жизни не дает в сущности никакого понятия о всей величине утраты, понесенной нашей революционной партией, еще меньше говорит он о живой прелести его личности. Чтобы дать ее почувствовать читателю на нескольких страницах, несколькими штрихами, для этого нужно бы его перо, перо самого Сергея [2]).

---

[1]) Чтобы пояснить эту случайность, заметим, что непосредственно перед открытым проходом, на котором произошло несчастие, железная дорога делает крутой поворот, и в ту минуту, когда Кравчинский переходил рельсы, поезд подошел к нему сзади, так сказать, из-за угла. Свисток был дан слишком поздно, а шум поезда не мог предостречь Сергея. Этот шум так часто слышен в той местности, что при малейшей рассеянности не доходит до сознания, а Сергей «шел глубоко задумавшись», как показали на следствии видевшие катастрофу рабочие.

[2]) «Работник», № 1, I-й, 1898 г. Женева.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

I.

Письмо Сергея (Кравчинского) к Евгению (Дейчу).

Март. 1882 г.

Милый Женичка!

Ужасно мне было жаль, что ты был так близко—что называется рукой подать—и не заехал. Неужели ты взаправду мог сомневаться, будет-ли приятно твое посещение? А Анна наверное не задумалась бы ни на минуту дать тебе мой адрес, еслиб знала, что ты не прочь заехать. Она наверное просто не догадалась, а ты не спросил из дипломатии. Вообще вы на нее нападаете, мне кажется, несправедливо. В деле с Лигой она совсем например не виновата. Она не написала мне точных слов Дмитра, но сущность изложила верно, и я теперь остаюсь при твердом убеждении, что «Вольное Слово» орган хотя и препротивный, если судить по единственному полученному мной номеру, но ни в каком случае не шпионский, и пока у меня не было бы доказательств, я бы не стал распространять такого слуха.

Знаешь, я думаю, что может быть в редакцию действительно затесался какой-нибудь двусмысленный человек вроде Молчанова—вот максимум, который допускаю. А чтоб редакция была шпионская, это противно логике. Ведь она вся состоит теперь из Драгоманова—Драгоманова и Драгоманова. Выходило бы, что правительство даст ему субсидию для издания своих произведений. Да и это ли одно! А их поведение! Разве так себя держат agents provocateurs? Помилуйте, они начали с того, что изругали террористов и привлекли к себе невиннейших людей, которые, конечно, «Лиге» понадобиться никак не могут. Впрочем вы и сами, кажется, верите в их лигизм.

А на счет Пинхуса [1]) я думаю так: если орган ругает террористов, то чего же он раньше смотрел. А если он раньше находил возможным там работать, то теперь нового ничего не произошло.

Ну да это все глупости, я пишу об этом больше по рутинной привычке отвечать непременно на все вопросы, а вовсе не потому чтоб вся эта история стоила выеденного яйца.

Теперь к делу. Мне, милый Женичка, нет ни *малейшей* возможности ехать с твоей оказией. У меня несколько начатых работ, которые бросить неоконченными ни в каком случае не могу. Во-первых, моя книжка, относительно которой более подробные сведения может дать Анна. Я уже обязался в двух местах составить ее, множество людей взбудоражены, и вдруг я всех надую. это весьма неприлично и я не желаю этого делать в данном случае еще потому, что полагаю, что книжка будет полезная.

Кроме того у меня имеется еще одна легальная работа, которую тоже нельзя не кончить: это просто значило бы прослыть мазуриком или по крайней мере человеком, не сдерживающим свое слово.

Ты может спросишь, почему же я раньше не закруглил своих работ, так как был «предупреждаем». Ах, голубчик, вспомни только, что было в Кларане после 1-го Марта, когда Анна приехала. Тогда, кажется, уж на что было верно. Это не помешало же однако протянуть меня за душу целый год ведь. Что же удивительного, если я решился раз навсегда не придавать абсолютно никакого значения никаким обещаниям и не запускать из-за них никакой денежной работы. Я, признаться, и теперь, даже если и верно, что мне все пришлют, то и то «не гораздо», и если бы оказалось, например, что не прислали бы снова—нисколько бы не удивился, ибо к тому привык. Но как бы то ни было, по причинам, приведенным выше, мне теперь ехать нет ни малейшей возможности. Две названные работы, да еще два перевода, которые тоже сдать никому не могу, займут у меня около двух месяцев, поэтому самое лучшее вот что: оставь все нужное у Веры. Я тогда буду знать и буду взаправду верить, что дело сделано и готовится. Пока же этого не будет, я ей-же ей не стану. Сам посуди: иметь в перспективе освобождение от пленения вавилонского и рисковать снова собственноручно наложить на себя цепи да еще такие, которых Бог весть сколько времени не перегрызешь. Ведь стоит мне три месяца провести «в блаженном уповании», и, глядь, уж у меня тысяча франков лишнего долгу или минимум 800, что значит, требуй для выкупа новую надбавку в 300 рублей. А это как то тошнехонько. Теперь же, милый Женичка, могу тебе к прове-

[1]) Павел Борисович Аксельрод.

ликой своей радости сказать, что «выкупов» мне в настоящую минуту не нужно, а нужно только на дорогу, т. е. не четыреста, а всего 200 рублей, потому что моя легальная работа заплатит все мои долги одна, а переводы в «Деле» и «книжка» и корреспонденции за глаза хватит на пропитание на это время. Итак, оставь у Веры 200 рублей и все нужные бумаги. Когда напишешь, что все в порядке, я обработываюсь, но ни на какие посулы меня теперь не подденешь. Не сердись, голубчик, и не подумай, пожалуйста, что в моем скептицизме скрывается хоть какое-нибудь сомнение в вашей, твоей, Вериной и Дмитровской серьезности. Это просто плод нажитой временем мудрости, про которую неправильно говорят, что корень ее горек, она же сладка, потому что следовало бы сказать наоборот, что она очень горька, хотя корень ее и бывает иногда сладок. Итак, крепко обнимаю тебя, милый, и надеюсь, что удастся мне сделать это скоро и на деле.

Твой С.

P. S. На счет же моей доставки к месту назначения не сумлевайтесь ни крошечки. Буду доставлен в наилучшем виде и никем иным, как тою же Анною собственноручно. Ведь она затем же и приехала. Кроме того она ведь отлично знает, что ее отказ не остановил бы меня. Поехал бы сам на адреса контрабандистов—только риску больше. Ну еще раз обнимаю тебя. Напиши, когда двинешься. Нет ли новых известий из России?

Приложение к письму.

Только что получил новый адрес, по которому и посылаю. Очень рад, как раз подходит под выбранные мною карты. Возьми их себе, не дари никому, их ведь можно держать на столе. Следующую мою посылку (вынув из нее письма) сдай Ольге от меня.— Брошюра «Из древней истории» уже печатается, автор ее очень рад, что она в России понравилась, и он делает к ней исправления и добавления (на счет Лиги, чему также есть пример в Римской Истории.). Вы ему предложили написать для военных, но он очень убедительно доказывает, что не его жанр, не нужно мол, чтобы она была агитационна, а он решительно не обладает способностью писать в таком стиле. Придется еще искать. Я хотел было уже поехать в Кларан и просить Зайцева, а он взял да и скоропостижно умер. На брошюре («Из древней истории») будет выставлено: «Заграничное издание партии «Народной Воли». Думаю, что вы ничего против иметь не будете. А твоего нарочного все нет, и ты очевидно еще не получил от него известия, так как упомянул бы в последнем письме № 16 (вероятно ты по ошибке напи-

сал вместо 15, так как вчера был № 14). Что с Паном, почему он ничего не пишет своим товарищам—они беспокоятся. Скажи ему, что они уже внесли в счет его долга 200 франков. Николай Иванович и жена послали 50: думают и впредь вносить. А от Ралли все нет ответа, я уже заставил и Павла ему написать (с ним ведет Эльсниц переписку), чтобы он телеграфировал, согласен или нет. Если на следующей неделе не будет ответа и оказия твоя даст мне данныя, то мы можем махнуть рукой на «Работника», чтобы долго не возиться с этими противными старыми лентяями-эмигрантами, а купим у Порепфера типографию («Колокола»), это будет в некоторых отношениях удобнее, а именно: старики (Жук и Эльсниц) не будут всовывать своего носа, хотя и более разрознена и дороже. Но это еще увидим. Ну будь здоров, дорогой мой. Я был бы очень рад если бы поскорее получил от тебя ответ на это письмо. Крепко, страх как целую тебя. Кланяюсь всем—всем.

Носятся слухи, что полиция ищет здесь Кобозева.

II.

Воспоминание о С. М. Кравчинском.

(Из 16 № «Рабочей Мысли» 1902 г.).

Вот что рассказал мне один рабочий, с которым я встретился случайно в вагоне железной дороги.

«Это было в 1871 году. Мне тогда был 21 год. Война французов с пруссаками кончилась. Рабочие следили по газетам за перипетиями войны и очень жалели французов. Читали рабочие довольно много, но без всякого разбора—все, что попадалось под руку,—а того, например, кто такие были коммунисты во Франции, чего они хотели, из нас почти никто не знал. Но так как во всякой, самой дрянной, литературе есть герои и хорошие люди, то у некоторых рабочих вырабатывалось сознание, что надо быть честным и служить какому-либо доброму делу—словом, тогда идеалы как бы носились в воздухе.

Вот в это время я познакомился с одним рабочим, который познакомил меня с более определенной литературой; толковали мы о прочитанном—и когда мои взгляды показались ему родственным его собственным—он меня познакомил с некоторыми студентами-медиками. Медики жили на Выборгской стороне, на Саратовской улице; у них на квартире собирались рабочие. Один из медиков вел пропаганду, другой читал рабочим лекции по физиологии. Не ограничиваясь этим, они решили познакомить нас с историей. Надо было найти для этого лектора, и лектор нашелся. Осенью 1872 года он явился к нам в первый раз. Это был молодой человек, блестящий, красивый — с умным, выразительным лицом и темно-карими глазами, каштановые волосы обрамляли высокий лоб. Одет он был в черное пальто, с наброшенным поверх плеч темносерым пледом. Раздевшись и оглядев нашу аудиторию, он сел и долго смотрел на нас, как бы изучая каждого, как бы раздумывая, с чего начать. Мы тоже сидели молча и рассматривали это молодое симпатичное лицо. Осмотрев нас и как бы вдохновившись, он начал, изредка взглядывая на свои пальцы своими несколько близорукими глазами. Мы услышали высокий грудной тенор. Он начал говорить о крестовых похо-

дах. Обрисовав ту духовную, нравственную атмосферу, которая вызвала крестовые походы, он стал об'яснять, как исторические факты отражаются на современниках и на отдаленном потомстве. Увлекательная лекция, обрисовавшая нам все движение эпохи крестовых походов, и этот молодой человек с таким симпатичным голосом, говоривший так горячо—все это привело нас в возбужденное состояние. Мы увидели ясно, чего нам недостает, поняли, что у нас нет ни знания истории, ни знания тех обстоятельств, среди которых мы живем. Лекции протянулись всю зиму, и мы на них являлись, как на праздник. Многие из нас, сознав, благодаря им, недостаток своих знаний, стали пополнять свои сведения из истории и из других отраслей науки.

Лектор являлся всегда неизменно в одни и те же часы, и мы не пропускали ни одной лекции—разве только по болезни. Для нас не было тайной, кто такой лектор и что он. Это был артиллерийский поручик, Сергей Кравчинский, только что сбросивший военный мундир и отдавший себя на служение рабочему классу для уяснения ему тех порядков, среди которых он живет, для уяснения того, что такое представляют собою крестьянин и рабочий в российском государстве и чем они могли бы быть.

Много он сделал для этого, и если есть еще оставшиеся в живых те рабочие, которые его слушали, то такие рабочие и самому Зубатову не по зубам придутся.

Лекции продолжались до 1874 года: в 1874 году произошел погром; многие были арестованы, но Кравчинский арестован не был: последний раз я его видел в 1876 году перед отправлением его в Сербию. Из Сербии, как известно, он уехал в Италию, и там ему пришлось просидеть в тюрьме. Но и там он пробыл не даром: изучив итальянский удар кинжалом, он хорошо прикончил с шефом жандармов Мезенцевым, поразив его среди бела дня на улице. По этому поводу писалось много стихов; одни из них я до сих пор помню:

Как удар громовой, всенародная казнь
Над злодеем бездушным свершилась.
То одна из ступеней
С громким треском долой отвалилась.

Кравчинский-Степняк умер в Англии, попав под поезд во время тумана. После убийства Мезенцева он, конечно, уже не мог жить в России.

«Мир праху твоему, незабвенный лектор и неизменный товарищ».

Рабочий.

	Цена Р. К.
Зиновьев, Г., и Троцкий, Л. „Карл Либкнехт и Роза Люксембург". Речи, произнесенные на заседании Петр. Совета	1 50
„Интернационал и мировая война"	60 —
Ионов, Илья. „Алое поле". Стихотворения. 2-е изд.	1 50
Калер, Э. „В. Вейтлинг, его жизнь и учение"	5 —
Кампанелла, Томас. „Государство солнца". Утопия	4 30
Карпинский, В. А. „Мир или война"	— 15
Катая, С. А. „Террор буржуазии в Финляндии"	1 40
Каутский, К. „Наука, жизнь и этика"	— 30
Его-же. „К. Маркс и его историческое значение"	1 25
Его-же. „Экономическое учение К. Маркса". 2-е изд.	3 50
Его-же. „Этика"	2 25
Его-же. „На другой день после социал. революции"	— 75
Его-же. „Классовые интересы"	— 40
Его-же. „Карл Маркс". Биографический очерк	— 45
Его-же. „Томас Мор и его Утопия"	12 —
Его-же. „Ирландия"	1 40
Его-же. „Возникновение брака и семьи"	2 25
Керженцев. „Как вести собрание"	— 70
Кий. „Что такое социализм"	1 10
Его-же. „Республика Советов". 4-е исправл. и дополненное изд.	— 40
Его-же. „От крестьянской общины к социалистической коммуне"	— 35
Его-же. „Сельская коммуна"	— 40
Клюев, Н. „Медный кит"	2 40
Князев, В. „Красные звоны и песни"	2 50
Его-же. „Красное Евангелие"	1 20
Его-же. „Песни красного звонаря"	4 50
Коллонтай. „Работница-мать"	— 35
„Коммунистический Интернационал к трудящимся всего мира. Да здравствует 1 мая"	1 —
Конколь. „Коммуна 71 г."	— 40
Конституция Советской Республики	— 40
Корольквич, Б. Е. „Финансовые и экономические законы и мероприятия Германии против держав согласия за время нынешней войны"	— 85
Лазар, Бернар. „Антисемитизм и революция"	— 70
Лассаль, Ф. „Принципы труда в современном обществе"	— 60
Его-же. „Дневник"	6 75
Лафарг, П. „Происхождение религиозных верований"	— 60
Его-же. „Благотворительность и право на труд"	— 60
Его-же. „Миф о непорочном зачатии"	— 35
Его-же. „Вера в Бога". Разошлось. Печатается 2-е издание	— 75
Его-же. „Труд и капитал"	7 50
Его-же. „Патриотизм буржуазии"	1 10
Его-же. „Право на леность"	1 10
Ленин. „Доклад и заключительная речь на 3-ем Всероссийском С'езде Советов"	— 25
Его-же. „Борьба за хлеб". Разошлось. Печатается 2-е издание	— 40
Его-же. „За 12 лет". Собрание статей	20 —
Его-же. „Пролетарская революция и ренегат Каутский"	3 —
Его-же. „Главные задачи наших дней"	— 65
Его-же. „Уроки революции". 2-е издание	— 40
Его-же. „Империализм, как новейший этап капитализма". (Попул. очерк)	4 50
Его-же. „Успехи и трудности Советской власти"	2 20
Либкнехт, В. „Два мира"	1 60
Его-же. „Никаких компромиссов, никаких избирательных соглашений"	1 30
Его-же. „1848 год и коммуна". Разошлось. Печатается 2-е издание	2 —
Его-же. „Воспоминания о К. Марксе"	2 —
Его-же. „К юбилею мартовской революции"	2 —
Либкнехт, Карл. „Мой процесс". (По документам). С предисловием Зиновьева и портретом К. Либкнехта	12 —
Лилина, З. „Солдаты тыла". „Женский труд до и после войны". Разошлось. Печатается 2-е издание	2 10

	Цена Р. К.
Лилина, З. „Организуйте женщин"	— 50
Ее-же. „Что дала революция народу"	— 35
Литературный сборник, посвященный памяти Г. В. Плеханова	3 45
Логинов. „На страже". Стихотворения. Сатиры	1 80
Лидеман, Г. „Коммунальная политика социализма"	1 40
Лукин, Н. „Церковь и государство"	— 50
Луначарский, А., и Зиновьев, Г. „К. Маркс и социальная революция". Разошлось. Печатается 2-е издание	— 65
Луначарский, А. „Комедии". 2-е издание	2 60
Его-же. „Карл Маркс". Ко дню 100-летия со дня рождения	— 50
Его-же. „Королевский брадобрей" (Власть). Пьеса	3 —
Его-же. „Первый пророк и мученик революции Радищев"	1 20
Лурье, М. (Ю. Ларин). „Суд над К. Либкнехтом"	— 45
Его-же. Крестьяне и рабочие в русской революции"	— 40
Его-же. „Состав пролетариата". 2-е издание	— 65
Майская, Татьяна. „Полустанки"	3 50
Маркс, К. „Либералы у власти"	2 —
Его-же. „Наемный труд и капитал"	1 80
Его-же. „Заработная плата, цена и прибыль"	— 85
Его-же. „К еврейскому вопросу"	3 75
Его-же. „Речь о свободе торговли"	1 40
Его-же. „Классовая борьба во Франции 48 г."	7 50
Его-же. „Кельнский процесс коммунистов"	7 —
Маркс, К., и Энгельс, Ф. „О коммунизме"	1 40
Их-же. „Манифест коммунистической партии"	1 40
Мархлевский. „Что такое политическая экономия"	1 10
Меринг, Фр., и Лафарг, П. „Фридрих Энгельс"	1 40
Мещеряков, В. „Деревенская беднота и путь к социализму"	— 40
Мирбо. „Жан и Мадлена". Драма	1 50
Морис, В. „Вести ниоткуда". Утопия	4 50
Мор, Т. „Утопия"	7 20
Муйжель. „Бабья жизнь"	3 50
Его-же. „Старый Камора"	2 —
„Наш рабочий праздник 1 мая"	— 20
Немирович-Данченко. „Вся чужая"	2 75
Новорусский, В. „Грибы"	4 50
Олар. „Политическая история французской революции"	24 —
„Памяти К. Маркса". Сборник статей. 2-е издание	4 50
„Памяти К. Либкнехта и Розы Люксембург". Сборник статей	5 50
Первый социалистический советский настольный календарь	20 —
Петрович. „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"	— 50
Пименова, Э. „История интернационала"	3 50
Ее-же. „Как немцы боролись за свою гражданскую свободу"	4 50
Ее-же. „Вильгельм II"	3 —
Плеханов, Г. „Речь о Белинском"	1 80
Программа Российской коммунистической партии	1 50
Равич, С. „Что такое республика советов"	— 75
Радек. „Анархисты и Советская власть"	— 12
Раковский. „Социалисты и война"	1 —
Рионов, Ник. „Как совершать записи рождений, брака, развода, внебрачных детей и установление отцовства у народных нотариусов"	— 75
Ромэн, Роллан. „Жан Кристоф". „Заря", т. I	4 —
„ „ „Утро", т. II	7 50
„ „ „Юность", т. III	— —
„ „ „Бунт", т. IV	— —
„ „ „Ярмарка на площади", т. V	5 20
„ „ „Сердце Франции", т. VII	2 25
„ „ „Неопалимая купина", т. IX	12 —
„ „ „В стороне от схватки"	5 20
Рубакин. „Вода на земле, под землей и над землей". С многочисленными иллюстрациями	3 —

5-00

Цена.
Р. К.

Рубакин. „Приключения в стране рабства". С многочисленными иллюстрациями 5 50
Его-же. „Дедушка-время". Новогодняя сказка . . 3 —
Его-же. „Что такое кометы" 3 50
Его-же. „Как и когда разные народы научились говорить каждый на своем языке" . . . . . 2 —
Его-же. „Рассказы о делах в царстве животных" 6 —
Его-же. „Среди тайн и чудес" . . . . . 9 —
Его-же. „Подземный огонь" 3 60
Рязанов, Д. „Две правды" Марксизм и народничество. Разошлось. Печатается 2-е издание . . — 90
Его-же. „Обуховское дело". Разошлось. Печатается 2-е издание 4
Его-же. „19 февраля". Разошлось. Печатается 2-е издание 4
Его-же. „К. Маркс и русские люди 40-х годов" . 1 8
Его-же. „Г. В. Плеханов и группа Освобождение труда" . . . . . — 90
Его-же. „Англо-русские отношения и оценка К. Марксе" 3 75
„Советская Россия и народы мира". С предисловием Максима Горького . . . . . 5 —
Самойлова. „Современная безработица и борьба с нею" 1 10
Ее-же. „Продовольственный вопрос и Советская власть" . . . . . — 90
Ее-же. „Что дала рабочим и крестьянам Великая Октябрьская революция": 1-е издание . . . — 50
2-е издание 1 20
Сборник декретов и постановлений, касающихся коммун северной области. За два тома в папке. 100 —
Сборник инструкций, положений и правил по организации сельско-хозяйственных коммун . — 20
Срединский, С. „Основы газетного дела" 2 30
Стеклов, Ю. „Черная сотня во Франции". Разошлось. Печатается 2-е издание 1 20
Его-же. „Революция 1848 г. во Франции" . . . . 2 —
Его-же. „Прудон" . . . . . — 80
Его-же. „Поль Лафарг". 2-е издание . . . . . — 55
Его-же. „Новейшее течение во французском антисемитизме" . . . . . 1 —
Его-же. „Интернационал", ч. I 4 80
Его-же. „Интернационал", ч. II 2 25
Степанов. „Жан-Поль Марат" . . . . . — 40
Его-же. „Твердые цены на хлеб" . . . . . — 10
Его-же. „Кто богатеет и кто разоряется" . . . . — 35
Стогов, М. „Кому нужны погромы" . . . . . — 80
Стринберг, А. „Муки совести" . . . . . — 70
Троцкий. „Труд, дисциплина и порядок" . . . . — 30
Его-же. „Слово к рабочим и крестьянам" . . . . — 45
Его-же. „Советская власть и международный империализм" . . . . . — 25
Струмилин. „Богатство и труд" (попул.-научн. очерк) 2 10
Тун, А. „История револ. движения в России" . . 4 80
Тюрлан. „Парижская коммуна" . . . . . 2 —
Финн-Енотаевский. „Экономическая система Карла Маркса" . . . . . 4 —
Ходоровский. „Памяти коммуниста на фронте" . . — 20
„Цена крови" . . . . . — 40
Цеткин, К. „Борьба за свободу и мир в России" . — 12
Ее-же. „Женский вопрос, интелл. пролетар. и социал." . . . . . — 70
Ее-же. „За большевиков" . . . . . — 45
* * * „Мировая война". С предисловием Г. Зиновьева 1 10
Чикколини, С. В. „Происхождение современной войны" . . . . . — 25
Чуковский, К. „Крокодил". С рисунками художника Ре-ми 10 50
Его-же. „Уот Уитмэн". Поэзия грядущей демократии . . . . . 6 —
„Шлиссельбург и его мученики". С иллюстрациями . . . . . — —
Эйснер „В. Либкнехт, его жизнь и деятельность" . 1 30
Энгельс, Ф. „Философия, полит. экономия, социализм" (Анти-Дюринг) 1 40
Его-же. „Из истории развития социализма" . . . 1 40
Его-же. „Людвиг Фейербах" 2 50
Его-же. „Статьи 1871—75 гг." 6
Яновский. „Таблицы для перевода русских в международные метрические и обратно . . . 3 50
Ясинский. „Воскреснувшие сны". Стихи 1 80

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Адлер, Г. „Анархизм" (анархистские теории и анархистские движения с древнейших времен) . . . . . — —
„Из прошлого венгерской социал-демократии" . . . . . — —
„Введение и комментарии к Коммунистическому Манифесту" . . . . . — —
Бакл. „Великая французская революция" . . . . — —
Бебель. „Положение женщины в настоящем и будущем" . . . . . — —
Его-же. „Христианство и социализм" . . . . . — —
Его-же. „Женщина и социализм" . . . . . — —
Его-же. „Из моей жизни". Мемуары в 3 томах. I и II т. вышли . . . . . — —
Беламн. „Через сто лет" . . . . . — —
Бельше. „Любовь в природе". 3 тома . . . . . — —
Его-же. „Гибель мира" . . . . . — —
Его-же. „Дни творения" . . . . . — —
Его-же. „Первобытные люди" . . . . . — —
Его-же. „Победа жизни" . . . . . — —
Его-же. „Тайны природы" . . . . . — —
Его-же. „Сказки жизни" . . . . . — —
Бурж, Элимир. „Гильотина (Под топором)". Перев. с франц. Л. Андрусона . . . . . — —
Бухарин, Н. „Церковь и школа в Советской Республике" . . . . . — —
Геррон. „От революции к революции" . . . . . — —
Горький. „Вездесущее" . . . . . — —
Его-же. „Хан и его сын" . . . . . — —
Демьян Бедный. „Мошна туга, всяк ей слуга" . . — —
Его-же. „Правда и кривда" . . . . . — —
Его-же. „Всякому свое" . . . . . — —
Дикштейн. „Кто чем живет" . . . . . — —
Дрейфюс. „Искусство и его деятели в период великой французской революции" . . . . . — —

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА.

Ашешов, Ник. „А. Н. Радищев, первый русский республиканец" . . . . . — —
Его-же. „Андрей Иванович Желябов". Материалы для биографии и характеристики . . . . . 24 —
Его-же. „Софья Перовская, ее жизнь и революционная деятельность" . . . . . — —
Белый, Марк. „Армия и революция". Из истории подпольной работы в войсках . . . . . — —
Генкен, И. „Воспоминания политического каторжанина" . . . . . — —
Дейч, Лев. „С. М. Кравчинский" . . . . . 10 —
Его-же. „Русская революционная эмиграция 70-х годов" . . . . . — —
Его-же. „Хождение в народ". Из воспоминаний . — —
Демор, В. П. Петрашевский (Буташевич). Биографический очерк . . . . . — —
Лукашевич. „1 марта 1887 г." Воспоминания . . — —
Николин, П. „Н. И. Рысаков". Материалы для биографии и характеристики . . . . . — —
Павлов-Сильванский, Н. Е. „Павел Иванович Пестель" . . . . . 5 —
„1 марта 1881 года. Прокламации и воззвания, изданные после дела 1 марта 1881 г.". С предисловием Н. С. Тютчева . . . . . — —
Троцкий, Л. „Туда и обратно" . . . . . 4 —
Шилов, А. „Д. В. Каракозов и покушение 4 апреля 1866 г." . . . . . — —

Цена 10 руб.

Первая Государственная Типография, Гатчинская, 26.